

A romantic couple in a gothic setting. The man, with dark hair and a black leather jacket, has a thorny tattoo on his neck. The woman, with red hair and a green dress, looks up at him. They are on a balcony overlooking a city at night with a large red moon in the sky.

СВЕТЛАНА ЛЕГКАЯ

ОДНА БОЛЬ
НА ДВОИХ

18+

Светлана Легкая

Одна боль на двоих

«Автор»

2026

Легкая С.

Одна боль на двоих / С. Легкая — «Автор», 2026

Палач Северин двадцать лет не чувствовал боли — Орден позаботился об этом ещё в детстве. Ведьма Велена, приговорённая к костру, в последнюю ночь связала его своей кровью: что болит у неё, болит и у него. Утром огонь коснулся её ног — и Безмолвный впервые в жизни закричал. Казнь остановлена. Верховный Дознаватель велит палачу беречь пленницу, а сам считает дни до красной луны. Ему нужны не её смерть и не его преданность. Ему нужна нить, за которую можно держать целое королевство. У них тридцать дней, одна боль на двоих и тайна пятнадцатилетней давности, которая стоит между ними.

© Легкая С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1. Ночь исповеди	6
Глава 2. Двести пятнадцатая	11
Глава 3. Цена	15
Глава 4. Стекло	19
Глава 5. Имя	24
Глава 6. Тридцать дней	29
Глава 7. Кровь из носа	34
Глава 8. Пепельное вино	39
Глава 9. Двести четырнадцать имён	44
Глава 10. Побег	49
Глава 11. Погоня по боли	53
Глава 12. Одно одеяло	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Одна боль на двоих

Глава

Одна боль на двоих

роман

Тёмное романтическое фэнтези

16+

Глава 1. Ночь исповеди

Велена

Ноготь я точила о стену с четвёртого колокола.

Камень в камере смертников был мягкий, песчаный, и после каждого удара колокола — а они падали на Цитадель, как капли с крыши, редко и тяжело, — я проводила указательным пальцем по одному и тому же месту. Палец становился чуть острее. Стена — чуть ниже. Последнее оружие ведьмы. Бабка говорила: «Если у тебя отняли всё, у тебя остались зубы и ногти, а это уже кое-что». Бабка вообще много чего говорила. Сейчас мне хотелось, чтобы она хоть раз ошиблась и вместо зубов и ногтей у меня оказалась, например, дверь.

Дверь оказалась. Она открылась.

Я не слышала ни шагов, ни ключа. Просто в проёме встал кто-то очень высокий, и факел в коридоре за его спиной сделался похож на закат за горой.

Он был в чёрном. На лице — чёрная кожаная полумаска, от лба до верхней губы, и из её прорезей на меня смотрела темнота. Ниже маски — рот. Обычный человеческий рот, с жёсткой складкой, сжатый. Я уставилась именно на него. Наверное, потому что всё остальное было слишком большим, чтобы встать в глаза.

— Сударыня, — сказал рот. Голос низкий, ровный, без выражения, так отзывается колодец, если бросить в него камень. — По обычаю Ордена палач проводит ночь перед казнью рядом с приговорённым. Чтобы принять его последние слова и снять их с души. Я здесь для этого. Вы можете говорить или молчать. Ваша воля.

Он шагнул внутрь, закрыл дверь — она затворилась так же беззвучно, как открылась, — и сел на пол, спиной к стене, вытянув длинные ноги. Между нами осталось четыре шага. Я знала точно: я мерила эту камеру три дня.

— Какая честь, — сказала я. — Палач-исповедник. А священника не нашлось? Побрезговал?

— Священник не ходит к ведьмам. — Он ответил сразу, без обиды, как если бы я спросила, который час. — Им нельзя.

— А тебе можно.

— Мне всё можно. Я и так нечистый.

Я поискала в его голосе хоть что-нибудь — горечь, гордость, издёвку. Ничего. Ровная тёмная вода.

Он снял с пояса кожаную флягу и, не вставая, поставил её на пол, потом подтолкнул ко мне носком сапога. Фляга проехала по камню и остановилась ровно посередине между нами. Рядом он положил половину ржаного хлеба, завернутую в чистую тряпицу.

— Вода. Хлеб. Это положено.

— Что ещё положено? Поцеловать на прощание?

— Нет.

Он сказал «нет» так буднично, что мне стало смешно — и тут же противно от того, что мне смешно. Я не притронулась к фляге. Полколокола не притрагивалась. Потом всё-таки взяла, потому что язык у меня за три дня стал как старая кожа, а гордость — вещь хорошая, но пить её нельзя. Вода была холодная, чуть отдавала железом. Хлеб я съела быстро, двумя руками, не глядя на него, как ела всегда — с тех пор как поняла, что еду могут отнять. Он смотрел. Я чувствовала это, как чувствуешь солнце затылком.

— Ты так на всех смотришь? — спросила я с набитым ртом. — Или на меня особенно?

— На всех.

— И что видишь?

— Что вы голодны. Это естественно. Вас кормили один раз в день.

Я проглотила последний кусок и вытерла руки о подол рубахи. Рубаха была из мешковины, рубаха приговорённой, колючая, и пахла чужим страхом — её носили до меня. Косу мне обрезали по плечи ещё при аресте: ведьме положено, чтобы в волосах не прятала ни узелка, ни травинки. Злилась я на это больше, чем на приговор. Приговор был чужой. А коса — моя.

— Знаешь, кто я? — спросила я.

— Велена, травница из деревни Ольховка. Именуемая Тёрн. Уличена в наведении чёрного мора. Шестеро детей.

— Я их лечила.

— Это не моё дело.

— А что твоё?

— Костёр.

Я откинулась к стене и потёрла левый мизинец — кривой, сросшийся не так после того, как в детстве мне его прищемило дверью погреба. Я всегда тёрла его, когда злилась. Он словно напоминал: кости срастаются как попало, если никто не вправит. Людей это тоже касается.

«Именуемая Тёрн». Пятнадцать лет я была Велена, дочь мельника, вдова, пришлая. Ни одна душа в Ольховке не звала меня этим именем, его и не знал никто. А на листе приговора оно стояло — печатными буквами Ордена, с чашей в углу. Кто-то очень хорошо знал, кого ловит. Я думала об этом три дня и додумалась только до того, что думать поздно.

— Ты знаешь, что бывает с теми, кто обидит терновую ведьму? — спросила я негромко.

— Нет.

Пауза.

— Расскажите, если хотите. У нас есть время.

Я открыла рот и закрыла. Я собиралась его пугать. Я приготовила ему ночь страха, я три дня складывала слова, как складывают хворост, — про гниль в глазах, про чёрную кровь, про детей, которые рождаются без лиц. А он сидел и ждал, и ждал вежливо, как ждут, пока хозяйка нальёт сбитень.

— Ты не боишься, — сказала я.

— Нет.

— Совсем?

— Я не помню, как это.

Он не хвастался. Он просто сообщил. И вот от этого мне стало впервые по-настоящему холодно — не от камня, не от сквозняка под дверью. От того, что человеку, которому нечего терять, нечего и предложить. А я умела торговаться только страхом.

* * *

Между шестым колоколом и седьмым я спросила:

— Сколько?

Он понял сразу.

— Двести четырнадцать.

— Ты их считаешь?

— Я их помню.

— Всех?

— Да.

— И я буду...

— Двести пятнадцатой.

Он сказал это без нажима, без угрозы, как сообщают, который час или какая будет погода. Я подумала, что никогда в жизни ещё не ненавидела человека так ровно и так полно, без единого просвета, как сейчас. Это было почти уютно. Ненависть — хорошая печка.

— Они кричат? — спросила я.

— Да.

— Все?

Он помолчал на один удар сердца дольше, чем раньше.

— Почти.

Я закрыла глаза, и там, под веками, сразу загорелось.

Площадь за северной стеной, белое утро, толпа, в которой пахло луком и мокрой шерстью. Мне одиннадцать, я стою слева, далеко, за спиной бабки, и бабкина ладонь у меня на рту — сухая, как кора, — и пальцы пахнут полынью. Столб. Дым сначала белый, потом серый. Женщина у столба — в такой же мешковине, как на мне сейчас, — не кричит. Не кричит, когда её привязывают, не кричит, когда подносят факел, не кричит, когда дым закрывает ей ноги. Она смотрит в толпу. Поверх голов. И улыбается кому-то.

Не мне. Я стояла далеко и слева, меня не было видно за бабкой. Кому-то другому.

Пятнадцать лет я просыпалась от этого — не от огня. От улыбки. И от вопроса, на который некому было отвечать: почему она не кричала? Все кричат. Он сам сказал. Почти.

Я открыла глаза. Палач сидел так же, спиной к стене, и смотрел на меня сквозь прорези. Рот его не шевелился.

— Ты был там? — спросила я, сама не зная, о чём. — Пятнадцать лет назад. Весной.

— Я был на всех.

— Нет. На одной.

— Я не знаю, о какой вы говорите. Я могу назвать имена, если скажете год.

— Не надо.

Он кивнул, словно я попросила его не открывать окно, и опять застыл. Он умел не двигаться так, как умеет только камень или очень терпеливый зверь. Я поймала себя на том, что считаю его вдохи. Медленные, редкие. Мне хотелось, чтобы он хоть раз сбился.

— А тебе что-нибудь снится, палач?

— Нет.

— Совсем?

— Я сплю сидя. Сидя не снится.

Я засмеялась. Громко, глупо, до слёз. Он подождал, пока я перестану, и спросил:

— Вам нужен платок?

— Мне нужна дверь.

— Дверь будет на рассвете, — сказал он, и это была первая фраза за ночь, в которой мне почудилось что-то похожее на человека. Или я очень хотела, чтобы почудилось.

* * *

На восьмом колоколе я поняла, что так не получится.

Страх не берёт его — нечему гореть. Ненависть ему всё равно что дождь. Слова скатываются. Остаётся то, чему учила не бабка, а кровь. Терновые умеют одно, чего не умеет никто: вязать. Связывать одно тело с другим так, чтобы нить не рвалась. Мать говорила, что это дар и что его нельзя. «Нельзя, Веленка. Это не отвар. Это навсегда, и за это берут плату, какую захотят».

Какую захотят. Я не знала какую. Я знала только, что у меня остался один колокол, мешковина, вода с железом и половина хлеба в животе.

И кровь. Кровь у меня была своя.

— Палач, — сказала я. — Последнее желание. Положено?

— Положено. Если в моих силах.

— В твоих. Подойди.

Он не шевельнулся.

— Я хочу увидеть лицо того, кто меня сожжёт. Это всё. Чтобы было кого искать за чертой.

Он подумал. Я видела, как он думает: не лицом — лица не было, — а тем, как чуть изменилась посадка плеч.

— Безмолвному нельзя открывать лицо при исполнении.

— Ты не исполняешь. Ты исповедуешь. — Я улыбнулась, как улыбаются тем, кого жалеют. — Или боишься, что я его запомню?

— Я не боюсь, — повторил он, и в голосе его на миг прошло что-то — не раздражение, а как будто он проверял слово на вкус и нашёл его верным. — Я уже сказал.

Он поднялся. Четыре шага он сделал за два. Опустился передо мной на одно колено — медленно, тяжело, как опускаются очень большие люди, которые боятся что-нибудь раздавить, — и оказался вровень со мной, сидящей. От него пахло дымом, кожей и — странно — чем-то травяным, горьким, чем пахнут только руки, которые долго работали с корнем. Я не успела удивиться.

— Ближе, — сказала я.

Он наклонился.

Я вскинула обе руки, вцепилась в край маски и рванула вверх.

Ремешок лопнул. Маска отлетела к стене.

Лицо.

Он оказался моложе, чем я думала, — в маске он был вечностью, а без маски стал мужчиной лет тридцати с небольшим. Резкое лицо, скулы, тёмные глаза, почти чёрные, не сузившиеся, не вспыхнувшие — ничего в них не дрогнуло. Через левую бровь — тонкий старый шрам, белый, как нитка. Волосы коротко и неровно обкромсаны. И он смотрел на меня с этого близкого расстояния так, как смотрят на дождь за окном.

Я прокусила себе нижнюю губу. Насквозь, со вкусом железа, похожим на вкус его воды.

Я взяла его лицо в ладони — большое, тёплое, чужое — и поцеловала.

Он не ждал. Я почувствовала это по тому, как на один удар он замер, как застывает человек, на которого села птица. Мои губы были в крови, кровь текла ему на рот, и он не отшатнулся — то ли от неожиданности, то ли потому, что ему и вправду было всё равно. По моим рукам, по шее, по лицу поползло знакомое тепло: я знала, что под кожей сейчас проступают тёмные линии, побеги, узор, который видела на матери, когда она лечила. Он тоже увидел. Я почувствовала, как его дыхание на миг остановилось.

Я прошептала ему в губы, кровью в кровь, словами, которые никогда раньше не говорила вслух:

— Кровью моей, словом моим, терном моим: что болит у меня — пусть болит у тебя. Где я умираю — там умрёшь и ты. И не будет тебе тишины, палач, пока я дышу.

И что-то взяли.

Это было не больно. Это было как когда снимаешь кольцо, которое носила так долго, что перестала чувствовать: только после — пустое место на пальце. Я ещё не поняла что. Я только почувствовала: взяли. Из меня. Чего-то — нет.

Он отстранился. Не отпрянул — отстранился, ровно и спокойно, как встают из-за стола. Провёл большим пальцем по губам и посмотрел на кровь без всякого выражения. Вытер палец о колено. Поднял с пола маску, осмотрел порванный ремешок, завязал его узлом и надел — медленно, тщательно, так, чтобы прорези легли точно на глаза.

Над Цитаделью ударил колокол. Девятый. Рассветный.

— Пора, — сказал палач.

* * *

Он ждал у двери, пока я встану. Я встала. Ноги держали. Губа горела, и я слизнула кровь — свою кровь, с чужим привкусом. Узор на коже уже гас, уходил обратно, как уходит вода в песок.

Ничего не произошло.

Я ждала — чего? Что он упадёт. Что закричит. Что хотя бы схватится за горло, за грудь, за что угодно. Что кровь пойдёт у него из носа, как шла у брата Гаспара, когда тот... Нет. Не вспоминать. Что он хотя бы посмотрит на меня по-другому.

Он смотрел, как раньше. Сквозь прорези. Как на дождь.

«Это не отвар, Веленка. Это навсегда». Мать говорила. Мать знала. А я не терновая ведьма, я травница, я пятнадцать лет варила отвары от кашля и вправляла вывихи, я никогда не вязала. И я сделала это не так. Не те слова. Не та кровь. Не та плата.

Плата.

Я попробовала вспомнить. Это было просто, я делала это каждую ночь пятнадцать лет: мать у печи, спиной ко мне, толчёт что-то в ступке и поёт. Колыбельную. Про ольху, которая стоит у воды и не боится ни ветра, ни ночи. Я помнила слова. Я помнила, как она покачивалась в такт. Я помнила, как пахло — сушёной мятой и дымом.

Я не слышала голоса.

Я видела, как шевелятся её губы, и это было беззвучно, как улыбка в толпе. Я потянулась за ним, за этим голосом, низким, чуть хриплым от дыма, смешливым, — и там, где он всегда был, оказался камень. Гладкий, песчаный, тот самый, о который я точила ноготь.

Вот что взяли.

За что? За ничто. За поцелуй с кровью, от которого у него даже руки не дрогнули.

— Сударыня, — сказал палач и отступил от двери, давая дорогу.

В коридоре горел факел, и за ним начиналась лестница, а за лестницей — двор, столб и хворост. И впервые за три дня, впервые за всю эту ночь, когда я сыпала на него страх, как соль, и ждала, пока он взойдёт, — впервые мне стало страшно по-настоящему.

Не потому, что я умру.

Потому что проклятие не сработало, я отдала за него последнее, что у меня было от матери, и теперь мне совсем нечем было его напугать.

Глава 2. Двести пятнадцатая

Северин

Сорок три ступени. Я знаю их на ощупь.

Ведьма шла впереди. Я шёл на две ступени ниже, чтобы поймать, если упадёт. Они падают часто. Она не упала. Она держала спину прямо и ставила босые ноги на камень ровно, как ставят на лёд. Я это отметил. Я отмечаю всё.

Губы жгло.

Это было странно. Я тронул их языком. Соль, железо, её кровь — я вытер её, но вкус остался. Жжение не проходило. Я перебрал, что знал. Она прокусила себе губу. Она поцеловала меня. Она сказала слова — я помню их все, я помню всё, что мне говорят в последнюю ночь, это моя работа: «что болит у меня — пусть болит у тебя». Приговорённые делают странное. Одна женщина год назад просила подержать её за руку. Один мужчина пел. Это — такое же. Я положил это туда, где лежат все их последние слова, и закрыл.

Я решил подумать о губах после. После всегда есть.

* * *

Три дня назад меня вызвал Вейн.

Это бывает редко. Безмолвного не зовут в кабинет, Безмолвному передают лист через Ульрика. Но в тот раз Ульрик сказал: «Тебя. Наверх», — и посмотрел так, как будто я наследил.

В кабинете пахло воском и ладаном. Ладан я не люблю. Это не чувство — просто от него першит. Вейн сидел за столом, маленький, сухой, в очках, и писал. Он дописал строку, посыпал песком, подул. Только потом поднял голову.

— Мастер. Садитесь.

Я не сел. Безмолвные не сидят при дознавателях. Он не настаивал. Он положил передо мной лист.

— Ведьма из Ольховки. Шестеро детей. Казнь через три дня, на рассвете. Я хочу, чтобы вы провели с ней ночь исповеди.

Я знал, что это. Отец рассказывал. Обычай старый, его не применяли лет сорок. Палач сидит в камере до рассвета и слушает. Отец говорил, что это глупость: приговорённые ночью либо молчат, либо врут.

— Обычай забыт, ваша милость.

— Я его возрождаю. — Вейн снял очки, протёр их, надел. Он делает это, когда доволен. — Орден возвращается к истокам. И мне нужен для этого самый надёжный человек. Вы — самый надёжный, мастер. Вы ни разу не дрогнули. Я ценю это больше, чем вы думаете.

— Да, ваша милость.

— Она будет говорить с вами. Ведьмы говорят. Слушайте. Утром расскажете мне, что услышали.

— Да, ваша милость.

Он улыбнулся. У него улыбка маленькая и аккуратная, как подпись.

— И не снимайте маску, мастер. Что бы она ни просила.

Я кивнул. Я не снял. Она сняла сама. Это разное, решил я тогда, на сорок третьей ступени. Теперь я думаю, что это было одно и то же.

* * *

Внизу ждал Матиас с факелом. Он улыбнулся мне, как всегда. Я кивнул, как всегда. Он посмотрел на мою маску, на узел вместо пряжки, и улыбка у него стала меньше.

— Мастер. Ремешок...

— Порвался.

— Она?..

— Да.

Он открыл рот и закрыл. Хотел спросить, что было дальше. Не спросил. Учится.

— Верёвки, — сказал я.

— Здесь. — Он показал моток на плече. Руки у него дрожали. Ему девятнадцать, он видел одиннадцать казней и до сих пор дрожит. Я тоже дрожал в его годы, так говорил отец. Я этого не помню. Я не помню многого из того, что было до тринадцати. После Причастия помнишь всё, а до него — как чужое.

— Ты ел? — спросил я.

— Нет, мастер.

— Плохо. Упадёшь.

— Не упаду. — Он выпрямился. — Я никогда.

Он упал на четвёртой своей казни, лицом в хворост, его оттаскивал Ульрик. Я не стал напоминать. Это не помогает.

Коридор, двадцать шагов. У двери стоял Ульрик с двумя братьями. Он оглядел меня, как оглядывают лошадь перед покупкой, — только наоборот: ища, за что не купить.

— Долго возишься, нечистый.

— Обычай, капитан.

— Обычай. — Он сплюнул. — Всю ночь с ведьмой в одной норе. Чему она тебя научила? Я не ответил. На это не положено отвечать. Ульрик отворил дверь.

Утро.

* * *

Пепельный двор лежит за северной стеной, между Цитаделью и Слободой. Сто двенадцать шагов от двери до столба. Я их не считал сегодня — я знал. Двор был полон. Я насчитал в первых рядах тридцать одно лицо, потом перестал: дальше лица сливались. Пахло мокрой шерстью, луком и смолой. Смолой — от хвороста. Хворост был сложен правильно, конусом, сухой внизу, посырее сверху, чтобы дым пошёл раньше огня. Это милосердие Ордена. Дым убивает быстрее.

На помосте справа сидел Верховный Дознаватель. В сером, с белым воротом, в очках. Руки на коленях. Он смотрел не на ведьму и не на толпу. Он смотрел на меня. Я отметил и это.

Слева стояли братья-стражи, девять человек, и Ульрик с ними. Ульрик смотрел на меня тоже, но иначе. Он всегда так смотрит. Нечистый. Я привык. Привыкать — моя работа.

Внутри у меня было как всегда. Я проверил, как проверяют замок, — тронул и отпустил. Ничего. Ровно. Хворост, столб, список, девятый колокол. Тетрадь дома, на полке, и в ней пустая строка с номером. Вечером я впишу имя. Я вписываю их вечером, чернилами, не торопясь. Это единственное, что я делаю не торопясь.

Дознаватель с листом вышел вперёд и начал читать. Я не слушал. Я знал лист наизусть: Велена, именуемая Тёрн, двадцати шести лет, травница, уличена. Шестеро детей. Приговор — огонь. Подпись Вейна, чаша в углу.

— ...и спрашивает Орден в последний раз: раскаиваешься ли ты, Велена, в содеянном?

— В чём? — сказала ведьма. Голос у неё был хриплый, но громкий, на весь двор. — Что лечила? Да. Надо было дать им сдохнуть. Вам бы понравилось.

Дознаватель замялся. Таких слов в его листе не было.

Она набрала слюны и плюнула ему под ноги. Попала на сапог.

Толпа выдохнула. Дознаватель отступил. Вейн не шевельнулся. Я взял ведьму за локоть и повёл к столбу. Локоть был тонкий. Я чувствовал через мешковину кость. Она не упиралась. Она шла, как на лестнице, — ровно, прямо, подняв подбородок. У столба обернулась и посмотрела на меня. Не на маску. На то место, где под маской лицо. Она видела его. Она единственная, кто видел его при исполнении, за пятнадцать лет.

— Руки, — сказал я.

Она подняла их. Запястья в красных полосах от кандалов. Я завёл их назад, за столб. Матиас подал верёвку. Я сделал первый оборот.

Запястья у меня заныли.

Тупо, глухо, как от холода. Я остановился. Посмотрел на свои руки. Они были целы. Перчатки, кожа, всё на месте. Утро холодное, с реки туман. Я решил: холод. Сделал второй оборот, третий. Узел. Верёвка грубая, пеньковая, она врезается в кожу — так положено, чтобы не выскользнула. С каждым оборотом в моих запястьях становилось горячее.

— Смотри на меня, — сказала она тихо, только мне. — Когда начнётся. Я хочу, чтобы ты смотрел.

— Я смотрю всегда.

— Нет. На меня.

Холод, решил я. Губы жжёт. Запястья жжёт. Что-то с кровью. После.

Я проверил узел. Крепкий. Отошёл на два шага. Матиас подал факел.

Ведьма смотрела на меня. Рот у неё был разбит — нижняя губа, там, где она прокусила. Я видел, как она сглотнула. Она боялась. Это видно всегда: по горлу. Но лицо у неё было такое, будто это я стою у столба.

Вейн на помосте поднял руку и опустил. Знак.

Я поднёс факел к хворосту.

* * *

Огонь взялся снизу, как положено. Сначала дым, белый. Потом первая рыжая полоса по сухим веткам. Я отступил ещё на шаг, как положено. Она не кричала. Они часто не кричат сначала, пока только дым. Крик приходит с огнём.

Огонь дошёл до её ног.

И что-то случилось с моими.

Я не знал, что это. Я до сих пор ищу слово и не нахожу. Ступни. Обе. В них вошло что-то — я бы сказал «горячее», но я знаю горячее, я беру угли руками и знаю, какое оно, и это было не оно. Это было больше. Это было как если бы ступни стали отдельно от меня и кричали. Это было внутри. Не снаружи, где огонь, — внутри.

Я упал.

Я не решил падать. Колени сами ударились о камень, и я их не почувствовал — колен не было, был только низ, две ступни, два куска горящего, которые были мной.

И я закричал.

Я слышал это со стороны. Низкий звук, хриплый, длинный, как у животного, которое никогда не кричало и не знает, как. Это был мой голос. Безмолвный. Пятнадцать лет на службе, двести четырнадцать костров, ни звука. Отец бы убил меня. Отец умер.

Толпа замолчала. Так тихо не бывает на казни. Я слышал, как трещит хворост. Я слышал, как она дышит, — часто, с всхлипом, сквозь зубы, — и каждый её вдох отдавался у меня в ступнях. Я слышал, как Матиас сказал: «Мастер?» — тонко, как ребёнок.

«Что болит у меня — пусть болит у тебя».

Я понял. Не головой — головы не было. Телом. Она. Это она. Это её ноги.

Дальше я помню кусками.

Я встал. Не знаю как. Ноги держали — мои ноги были целы, горело не в них, горело в ней, а она стояла в огне, и значит, горело во мне. Я шагнул в хворост. Я ударил сапогом по горящему конусу, и он развалился, и ветки полетели в толпу, и кто-то закричал там, вдалеке, неважно. Я нагнулся и стал выгребать руками. Горящие ветки. Я брал их голыми руками — перчатки где-то делись — и отбрасывал. Руки чувствовали что-то, слабо, как сквозь стекло: это были мои собственные ожоги. Я на них не смотрел. Я смотрел на её ноги. Там огонь был ещё — она переступала, прижималась к столбу, мешковина внизу тлела, — и в моих ступнях было то же самое, и это надо было прекратить.

— Мастер! Мастер, что вы...

— Назад, — сказал я Матиасу, не оборачиваясь. Не знаю, услышал ли. Я затоптал последнюю. Я выхватил нож из-за голенища и резал верёвку за столбом — три оборота, узел, я вязал его сам, я знал, где резать. Верёвка упала. Она упала следом, вперёд, мне на руки. Лёгкая. Пахла дымом и полынью.

И стало тише.

Не тихо. Тише. Ступни больше не кричали, они ныли, горели, как горит обожжённое, когда вытащишь из огня, — но это было уже терпимо, это было как боль, о которой рассказывают. Я стоял на коленях в разбросанном хворосте и держал её, и смотрел на её ступни. Красные. Вздувшиеся. Не чёрные. Я успел.

Я успел что? Я сорвал казнь.

Я поднял голову.

Ульрик уже шёл ко мне с обнажённым мечом, и восемь братьев за ним. Матиас стоял с пустыми руками там, где я его оставил, с открытым ртом, и факел горел у его ног на камнях. Толпа отхлынула назад и стала стеной. В первом ряду женщина чертила в воздухе чашу. Кто-то крикнул: «Ведьма его взяла!» Кто-то: «Нечистого — к столбу!»

Я не встал. Я не выпустил её. Я не знал, что делать. Я никогда раньше не знал, что делать, — мне всегда говорили.

Я посмотрел на свои ладони. Кожа слезла с двух пальцев на правой, на левой чернел волдырь. Я отметил это, как отмечают погоду. Это было моё и не считалось. Считалось другое: у меня под рёбрами, слева, там, где раньше всегда было ровно, что-то шевельнулось. Я тронул, как замок. Не ровно. Как будто кто-то вошёл в пустой дом и стоит в дверях.

Ведьма у меня на руках дышала мне в шею. Горячо, часто.

— Чувствуешь, — сказала она. Не спросила. Голос был еле слышный, сорванный дымом, и в нём было что-то, похожее на смех. Или на плач. Я не различаю.

Я не ответил. Я не знал ответа. Я знал только, что если её ступни сейчас опять тронет огонь, я опять упаду, и это знание было новое, твёрдое и не моё.

— Остановить.

Вейн сказал это не громко. Но он сказал это со своего помоста, и Ульрик остановился в пяти шагах от меня, и восемь братьев за ним тоже, как стена, в которую упёрли ладонь.

Вейн поднялся. Он спускался медленно, по одной ступени, придерживая рясу. Прошёл мимо Ульрика, мимо дымящихся веток. Остановился передо мной. Я сидел на земле с ведьмой на руках, он стоял, и всё равно он был ниже меня. Он всегда ниже, и это никогда не имело значения.

Он смотрел не на неё. Не на мои руки — они были красные, в саже, я заметил это только сейчас. Он смотрел на мою шею. Слева, над воротом.

Я поднял руку и тронул там.

Кожа была неровная. Под пальцами — что-то выпуклое, тонкое, ветвистое, как рисунок, который вышили по коже изнутри. Оно тянулось от ключицы вверх, под маску. Оно было тёплое. Теплее, чем я.

Ведьма у меня на руках подняла голову. Губа у неё была в крови, лицо в саже, глаза — серые, светлые, — и в них стояло что-то, чего я не умел назвать. Я подумал: так, наверное, выглядит человек, который выстрелил в темноту и услышал, как упало.

Вейн снял очки, протёр их краем рукава и надел снова.

— Мастер, — сказал он мягко, так, как говорят о погоде, — отныне вы будете её беречь. Как собственную жизнь.

Он помолчал и добавил, глядя на мою шею:

— Впрочем, полагаю, теперь это одно и то же.

Глава 3. Цена

Велена

— Это гусиный жир? — спросила я, не открывая глаз. — Вы меня добить решили?

Кто-то, кто трогал мои ступни, замер. Потом сухой женский голос сказал:

— Облепила и воск. Гусиный жир — для крестьян и для тех, кому всё равно. Вы, стало быть, живы.

— Стало быть.

Я открыла глаза. Потолок был не каменный — дощатый, тёмный, с балкой. Под лопатками лежало что-то мягкое. Пахло воском, облепихой и — слабо, из-под всего — ладаном, от которого у меня свело скулы. Значит, Цитадель. Значит, не за чертой. Мёртвым, я полагаю, ладан не жгут, им и так хватает.

Женщина сидела в ногах кровати на табурете. Высокая, сутулая, в сером чепце сестры Милости, с очень светлыми глазами — почти без цвета, как вода в ложке. Пальцы в чернильных пятнах. Эти пальцы держали мою левую ступню за пятку и накладывали что-то прохладное. Я приподнялась на локтях, посмотрела — и тут же посмотрела на это как на работу: красные, вздувшиеся, два волдыря на своде, один у большого пальца. Не чёрные. Кожа не слезла. Заживёт за десять дней, если никто не будет совать туда гусиный жир.

— Хорошо лежите, — сказала сестра. — Другие на вашем месте кричат.

— Другие на моём месте обычно уже пепел.

— И это тоже. — Она закончила с левой, перешла к правой. Руки были уверенные, быстрые, и каждое движение она делала один раз, не поправляя. Лекарь, не нянька. — Меня зовут сестра Агата. Я буду вас лечить и наблюдать.

— Наблюдать что?

Она подняла светлые глаза и посмотрела на меня с интересом — не с жалостью, не со страхом, именно с интересом, так я сама смотрю на незнакомый корень.

— Вы знаете что.

Я откинулась на подушку. Над кроватью в стене было окно — узкое, в ладонь, без ставня, и в нём стояло серое небо. Комната. Стол. Табурет. Кувшин. Дверь, тяжёлая, с засовом снаружи. И вторая дверь — в боковой стене, маленькая, из простых досок, без засова вовсе.

Клетка, но клетка получше. Так пересаживают птицу, которую решили не есть.

— Что вы ему сказали? — спросила Агата. — В камере. Точные слова, если помните.

— Не помню.

— Помните. Такое не забывают. — Она отвела руку от моей ступни, и я сжалась, ожидая, — но она не тронула, она просто ждала и смотрела. — Я не дознаватель, сударыня. Я ничего не записываю для Вейна. Я записываю для себя.

— И это должно меня успокоить?

— Нет. Это должно вас заинтересовать.

Она взяла с табурета мою ступню, повернула к свету, и нажала большим пальцем на волдырь.

Я зашипела.

За дощатой дверью что-то глухо ударило о стену. Как будто уронили стул. Или как будто большой человек, сидевший на полу, дёрнулся и задел плечом доску.

Агата отпустила. Посмотрела на дверь, потом на меня. Пятнистые пальцы достали из рукава огрызок грифеля и клочок бумаги и что-то черкнули.

— Третий раз, — сказала она. — Я проверяла. Он там, за дверью. Он не спал всю ночь — сидел. Когда я касаюсь вашей левой ступни, он вздрагивает. Когда правой — тоже. Когда я касаюсь вашей руки — нет. — Она подняла бровь. — Запястья, полагаю, уже не болят?

Я посмотрела на свои запястья. Красные полосы, но тупые, не живые.

— Нет.

— Значит, он чувствует то, что болит сейчас. Не следы. — Ещё черта грифелем. — Вы понимаете, что сделали?

Я лежала и слушала, как за дощатой дверью стало тихо. Он сидел там. Сидел на полу, спиной к стене, как в камере. Я представила его — маску, узел на ремешке, большие руки, — и как он дёргается, когда чужая женщина нажимает на мою ногу. Как я дёргала бы за нитку, привязанную к его рёбрам.

Сработало.

Я знала это ещё на дворе, когда он закричал. Но там был дым, и жар, и я думала, что это я кричу. А сейчас было тихо, и сестра Милости с чернильными пальцами говорила мне об этом, как говорят о погоде.

Сработало. Я сделала это. Терновый узел, который мать запрещала мне даже пробовать. На палаче. И отдала за это её голос.

Я попробовала ещё раз, лёжа на чужой подушке: мать у печи, ступка, ольха у воды. Губы шевелятся. Тишина.

— Понимаю, — сказала я. — Лучше, чем вы.

— Сомневаюсь, — сказала Агата. — Но мы это выясним.

* * *

Вейн пришёл, когда небо в узком окне стало из серого белым, — значит, около полудня. Он постучал. Это было так дико, что я не ответила, и он вошёл сам, прикрыл за собой дверь и остался стоять, сложив руки, будто ждал, что ему предложат сесть.

Я его видела до этого один раз, на помосте, издалека. Вблизи он оказался маленьким. Худой, сухой, с седой бородкой, в очках с тонкой оправой; рукава серой рясы чуть длинны, и он всё время поправлял их. Пах он ладаном и воском так густо, что меня замутило. Я села на кровати, подтянув под себя обожжённые ноги, — чтобы не лежать перед ним.

— Сударыня. Как вы себя чувствуете?

— Как сожжённая.

— Недожжённая, — поправил он мягко. — Я прошу прощения за это. Утро вышло беспорядочным.

Я уставилась на него. Он что, извиняется? Он произнёс это именно так: с лёгким сожалением, как хозяин дома, у которого при гостях пролили вино. Я поискала в его лице насмешку. Её не было. Он был учтив. Вот что было страшно — он был совершенно, до дна, учтив.

— Я пришёл сказать вам две вещи, — продолжил он. — Первая: ваша казнь отложена. На время исследования. Мы не вполне понимаем, что произошло на дворе, а я не люблю делать то, чего не понимаю.

— А вторая?

— Вторая — о мастере. — Он чуть повернул голову к дощатой двери. — С этой минуты он — ваш страж. Живёт в той комнате. Эта дверь не запирается. С его стороны тоже. Он будет приносить вам еду, следить за повязками, сопровождать, если понадобится. Если вам что-то нужно — скажите ему. Если вам что-то нужно от меня — тоже скажите ему.

— Вы поселили палача в моей спальне.

— Я поселил рядом с вами единственного человека в Цитадели, которому невыгодно, чтобы вы умерли. — Вейн улыбнулся, коротко и аккуратно. — Остальные не так щепетильны. Капитан Ульрик, например, очень огорчён. Я бы на вашем месте ценил мастера.

Я молчала. Он говорил про узы так, будто всё уже понял. Он их не называл, но я слышала, что он знает, — так знахарка слышит по кашлю, что в груди.

— Это были терновые узы, — сказал он, словно подслушал. — Я читал о них. Очень давно, очень мало. Терновый род считался угасшим. — Он поправил рукав. — Вы ведь не из Ольховки родом, сударыня?

— Я из Ольховки.

— Разумеется. — Он не спорил. Он никогда не спорил, как я узнаю потом. Он просто ждал, пока ты сама устанешь врать. — Сестра Агата будет приходить дважды в день. Она — учёная, не дознаватель, вам нечего её бояться. Отвечайте ей, если хотите. Не отвечайте, если нет. Не бойтесь. Я никогда не причиняю боль без нужды. Это было бы расточительно.

Он поклонился — мне, ведьме, в мешковине, — и вышел. Дверь за ним закрыл кто-то снаружи, и засов лёг в скобу с таким звуком, с каким ложится в землю лопата.

Я сидела и смотрела на дощатую дверь.

Расточительно. Он сказал: расточительно. Как про дрова.

* * *

Когда шаги Вейна стихли на лестнице, я спустила ноги с кровати.

Надо было посмотреть, где я. Птица, которую пересадили в клетку получше, первым делом проверяет прутья, — а мне ещё и надо было знать, высоко ли. Я встала. Ступни отозвались сразу, обе, так, словно я встала на горячие угли — ровно это и было, только угли теперь были внутри. Я зашипела сквозь зубы и шагнула.

За дощатой дверью выдохнули.

Я замерла. Тихо. Ещё шаг — и там, за досками, снова выдох, короткий, глухой, как у человека, которому наступили на ногу в толпе и который не хочет скандала.

Так. Значит, вот как это.

Я дошла до окна — шесть шагов, шесть выдохов — и подтянулась на руках к узкой щели. Внизу лежал Пепельный двор. Чёрное пятно на камнях, где был хворост, уже затоптанное. Столб. За ним — стена, за стеной крыши Слободы, низкие, серые, с дымками. Третий ярус, не меньше. Простыни не хватит. Хотя — если связать две...

Я стояла на обожжённых ступнях и смотрела на место, где должна была сгореть, и слушала, как за стеной тяжело дышит человек, который должен был меня сжечь.

Это не было приятно. Я ждала, что будет, — как бывает приятно, когда наконец доберёшься ногтями до того места, что чешется. Не было. Было что-то другое, липкое, как смола на руках, и я не стала разбираться что. Я сошла с окна и вернулась на кровать не потому, что ему там было больно. А потому, что ногам нужен был покой. Так я себе сказала. Я умею говорить себе что нужно.

Выдохи за стеной прекратились. Потом доска чуть скрипнула — он сел обратно.

* * *

Он вошёл, когда стемнело. Без стука — он, видно, решил, что в собственный дом не стучат. В руках поднос: миска, хлеб, кувшин. И нож. Маленький, для хлеба, с деревянной ручкой.

Он принёс ведьме нож.

Я чуть не засмеялась. Потом посмотрела на него внимательнее и смеяться расхотела. Маска на месте, узел на ремешке. Ворот чёрной куртки застёгнут до горла, выше обычного, — и я поняла, что он прячет. Руки. Обе ладони перевязаны чистой холстиной, аккуратно, узлом на тыльной стороне. Агатиная работа. Он держал поднос этими руками, как держат целыми.

— Ты обгорел, — сказала я.

— Да.

— Больно?

— Нет. — Он поставил поднос на стол, чуть помедлил и добавил, будто уточняя погоду: — Ваши ноги — да.

Он отошёл к дощатой двери и остановился, не уходя. Между нами были стол, нож и четыре шага. Я уже знала, что он считает шаги. Я подумала, что тоже стала.

— Ты кричал, — сказала я.

Он не ответил. Молчание было ровное, как всегда. Но я видела, как его перевязанная рука сжалась и разжалась.

— На всём дворе было слышно. Безмолвный. Двести четырнадцать костров — и ни звука. А на моём закричал. Как тебе это, палач? Как это называется?

— Я не знаю, как это называется.

— Боль. Это называется боль. Запомни слово, пригодится.

Он стоял. Я взяла хлеб, отломил, съела быстро, глядя на него. Похлёбка была с перловкой и луком, горячая. Я ела её с ненавистью и аппетитом, и одно другому не мешало.

И пока я ела, у меня в голове медленно, как всходит дрожжевое тесто, поднималось понимание.

Он чувствует всё. Всё, что болит у меня. Не вчера, не следы — сейчас. Агата проверила. Вейн это знает и поселил его за дощатой дверью. Вейн берёт меня, потому что я была рычагом, но и я... я держала рычаг. Вот он, у меня в руках. С деревянной ручкой.

Я отложила ложку. Взяла нож. Он был тупой, хлебный, но мне и не надо было острого.

— Открой дверь, — сказала я.

Он посмотрел на нож. Потом на меня.

— Не ту. Наружную. Выведи меня из Цитадели. Ты можешь. Ты мой страж, ты сопровождаешь, куда скажу. Ночью, через Слободу, вы там все свои. Выведи — и больше никогда не почувствуешь ни единой моей царапины, клянусь терном.

— Нет.

— Тогда я сделаю вот что. — Я приложила лезвие к сгибу левой руки, чуть выше запястья, туда, где кожа тонкая и вены близко. Нажала не сильно — так, чтобы он увидел белую полоску вокруг лезвия. — Один раз. И ты это почувствуешь. А потом ещё. Я знаю, где резать, чтобы было очень больно и совсем не опасно. Я умею, я лекарь. Я могу делать это всю ночь, палач. Каждую ночь. Пока не выведешь.

Он не двинулся с места.

Я ждала. Я ждала, что он шагнёт ко мне, выбьет нож, схватит за руку — и тогда это будет драка, а в драке у меня зубы и ногти. Я ждала, что он скажет: «Не надо». Я ждала хоть чего-нибудь живого — и от этого ожидания у меня самой дрожала рука с ножом, а он стоял, и маска смотрела, и тишина была такая, что я слышала, как остывает похлёбка.

— Не сделаешь, — сказал он.

Спокойно. Без угрозы. Как сообщают, который час.

— Ты лекарь. Я видел, как ты смотрела на свои ожоги. Утром, когда сестра их открыла. Ты смотрела на них, как на чужие. Которые надо лечить. — Он помолчал. — Ты не режешь то, что лечишь.

Я сидела с ножом у собственной руки.

Он сказал мне «ты». Первый раз. Так говорят не с приговорённой — так говорят с кем-то, кого знают.

И он был прав. Пепел его побери, он был прав, и я поняла это раньше, чем он договорил, — в тот миг, когда лезвие коснулось кожи и я сама, не думая, повернула его так, чтобы не задеть вену. Как делаю всегда. Как сделала бы с любой рукой на свете.

Я отшвырнула нож. Он стукнул о стену и упал. Палач подошёл, поднял его, положил на поднос и ушёл за дощатую дверь, не закрыв её.

Я легла лицом к стене, чтобы не видеть этой щели, и долго не могла заснуть — не от боли в ногах. От того, что меня видели насквозь, как воду в ложке, и это сделал человек в маске, который не умел назвать боль.

Глава 4. Стекло

Северин

На второй день у меня свело живот.

Я сидел на полу своей комнаты, спиной к стене, и смотрел на дощатую дверь. Боль пришла снизу, под рёбрами, и скрутилась, как мокрая тряпка, которую выжимают. Я проверил себя. Я ел утром: хлеб, вода. Я никогда не ем больше. Живот у меня не болел ни разу за двадцать лет — я бы запомнил.

Значит, не мой.

Я встал и открыл дверь. Она лежала лицом к стене. На столе стояла миска — полная, с утра, с холодной плёнкой сверху. Хлеб нетронут. Кувшин полный.

— Ты не ела.

— Какой наблюдательный.

— Вчера тоже.

— Вчера я ела. — Она не повернулась. — Вчера ты принёс нож. Сегодня нет ножа — нет аппетита.

Живот скрутило снова, сильнее. Я поймал себя на том, что согнулся. Она услышала, как я выдохнул, и тогда повернулась. Лицо серое, губа запеклась. Глаза живые. Довольные.

— Болит? — спросила она.

— Да.

— Хорошо.

Я понял. Не сразу — на это у меня ушло время, которого хватило бы, чтобы спуститься на сорок три ступени и подняться. Она не ела назло. Мне. Она голодала, чтобы я чувствовал голод. Она нашла то, что я не могу запретить, — отказываться.

Я стоял и смотрел на неё. Боль в животе была глухая, тянущая, и под ней — ещё одна, которой я тоже не знал имени: пустота, как будто внутри меня дыра, в которую сыплется песок. Я понял и это, позже. Это и есть голод. Я никогда его не чувствовал. Я ел, потому что положено.

Задача. Я привык к задачам. Палачу дают тело и говорят: оно должно быть таким-то. Это тело должно быть целым. Целое тело — сытое, тёплое, без ран. Значит, кормить. Греть. Лечить.

Я взял с её стола миску и вышел.

* * *

На кухне Цитадели меня не любят. Кухарка кладёт сдачу на стол, чтобы не коснуться рук, — так везде, я привык. Но мне дали горячего. Похлёбка, перловка с луком, и кусок копчёной рыбы, и мёд в плюшке — я попросил мёд. Я не знал зачем. Мне показалось, что это нужно.

Я принёс и поставил на стол.

— Ешь.

— Нет.

— Ты ослабнешь. Ожоги не заживут.

— Твои заботы.

— Да, — сказал я. — Мои.

Она села на кровати и уставилась на меня. Я сел на табурет, напротив, и стал ждать. Я умею ждать. Я ждал у двухсот четырнадцати костров, пока догорит, — это долго. Через четверть свечи она потянулась за хлебом. Отломила, макнула в мёд, съела. Посмотрела на меня, как смотрят на собаку, которая сидит у стола.

— Ты так и будешь?

— Пока не съешь.

— А потом?

— Потом принесу ужин.

Она засмеялась. Я уже отличал этот смех: короткий, злой, как будто она сама себя поймала на чём-то. Она съела всё. Я чувствовал, как боль в животе уходит, — не сразу, а как отпускают верёвку, по одному обороту. Это было хорошо. Я не знал, что бывает хорошо. Я знал «правильно» и «неправильно». Это было другое.

— Палач-нянька, — сказала она, облизывая ложку. — Безмолвный с плоской мёда. Если бы твой Орден видел.

— Орден видел. Я беру еду на кухне Ордена.

Она посмотрела на меня долго, как смотрят, когда не понимают, шутит человек или нет. Я не шутил. Я не умею.

* * *

На третий день у меня зачесались ступни.

Я снял сапог, посмотрел. Чисто. Зуд не проходил — тонкий, под кожей, там, где у неё были волдыри. Я понял: заживает. Так чешется заживающее. У меня никогда ничего не чесалось, или я не замечал, — у меня зарастает за неделю, и я не смотрю.

Я понял и другое: сестра Агата приходит дважды в день, а повязки надо менять трижды. Ей некогда. Мне — нет.

— Дай ногу.

— Что?

— Повязку. Пора менять.

— Агата придёт вечером.

— Вечером — Агата. Сейчас — я.

Она сидела на кровати, подобрав ноги под себя, и смотрела на меня снизу так, словно я предложил ей прыгнуть в реку. Потом вытянула левую ногу. Медленно, как вытягивают руку с кормом к зверю, который может укусить.

Я сел на пол. Взял её пятку в ладонь — ладонь перевязана, я не чувствую своих ожогов, но её пятку чувствую: лёгкая, костистая, холодная. Холодная. Я отметил это. Я размотал холстину. Волдыри опали, два уже подсохли. Кожа розовая, новая. Я взял с табурета плоскую мазью, которую оставила Агата, и стал накладывать, как видел у неё, — одним движением, не возвращаясь.

Под моими пальцами в моих собственных ступнях отзывалось: прохлада, щипок, тепло. Я делал ей — и чувствовал себе. Это было странно, как смотреть в воду и видеть не своё лицо.

— У тебя руки лекаря, — сказала она сверху. Голос был другой, не злой. Удивлённый. — Откуда?

— Я умею перевязывать.

— Палачу зачем?

— Чтобы довести до костра целым. — Я замотал холстину. — Другую.

Она дала другую. Я заметил, что она дышит неровно. Я посмотрел вверх. Она смотрела на мои руки, на мой затылок, на ворот, и когда я поднял голову, отвела взгляд к окну.

— Закрой это, — сказала она. — Дует.

Из окна в самом деле тянуло. Я знал — я чувствовал этот холод у себя в плечах уже два дня и не понимал, откуда, пока не вспомнил, что она спит под окном. Окно не закрывалось: оно было щелью без ставня, его и не закрыть. Я ушёл к себе, взял плащ — мой, чёрный, тяжёлый, — и повесил его на гвоздь над окном, чтобы ткань закрывала щель. Стало темнее. И тише.

— Теперь я сплю под плащом палача, — сказала она. — Какое счастье.

— Он тёплый.

— Я знаю, что он тёплый. В этом и беда.

Я не понял. Я положил это туда, где лежит всё, чего я не понимаю. Там становилось тесно.

* * *

Матиас пришёл в тот же день к вечеру. Принёс из Слободы чистую рубаху и мои вторые перчатки. Остановился на пороге, посмотрел на дощатую дверь — она была открыта, — и на неё за дверь.

— Мастер. Вас в Слободe спрашивают. Дора. Говорит, у неё опять колено.

— Скажи ей — мазь на полке над печью. Та, что в зелёной плошке. Утром и на ночь.

— Скажу. — Он не уходил. Он смотрел мимо меня, на ведьму. Она сидела на кровати и расчёсывала пальцами обрезанные волосы, и смотрела на него в ответ, как смотрят на мышь. — Это правда? Что на дворе говорят?

— Что говорят?

— Что она вас... — Он искал слово и не нашёл. — Что она в вас залезла.

Я не ответил. Он сделал шаг внутрь, ближе ко мне, и сказал тише, так, чтобы она не услышала, — она услышала, я видел по её лицу:

— Вейн говорит, это пройдёт. Что сестра Агата найдёт, как снять. Говорит, это как заноза. Вытащат.

— Вейн говорит.

— Мастер, я... — Он замолчал.

Ведьма встала. Я не знаю зачем — может, за кувшином. Она прошла мимо стола и задела бедром угол. Несильно. Так, как задевают, когда комната тесная и ты не смотришь.

У меня дёрнуло в боку. Коротко, тупо — я дёрнулся вместе с ним, не успев удержать. Плечом, всем телом, как от укола.

Матиас это увидел.

Я видел, как он это видел: глаза у него стали большие и очень светлые, и он посмотрел на неё, потом на меня, потом на мой ворот. И лицо у него сделалось такое, какого я не видел у него ни разу за семь лет: не страх. Хуже.

— Иди, — сказал я.

— Мастер...

— Иди. Доре — мазь. Зелёная плошка.

Он ушёл. Ведьма стояла у стола с кувшином и смотрела ему вслед.

— Твой щенок меня ненавидит, — сказала она.

— Он не щенок.

— Он тебя любит. — Она налила воды, выпила. — Это ещё хуже. Любящие делают самое страшное. Запомни и это слово.

Я запомнил. Я складывал слова, как складывают дрова на зиму, и не знал, пригодятся ли.

* * *

Ночью я проснулся от того, что у меня колотилось сердце.

Я сплю сидя, спиной к стене, и просыпаюсь сразу и весь. Так и проснулся. Темнота. Доски. Щель двери. И сердце — моё — било в рёбра, как кулак в дверь, быстро и неровно. Дыхание не шло: горло перехватило, как перехватывает верёвкой, я знаю, как это бывает сна-ружи, я никогда не знал изнутри. Я проверил себя, как замок: тело целое, никто не вошёл, тихо.

Не мой.

Я встал и открыл дверь.

Она лежала на спине. Глаза закрыты. Плащ над окном не пропускал света, но я видел — я вижу в темноте, как положено, — что лицо у неё мокрое, что рот открыт, что она дышит часто, с всхлипом, как на дворе, когда дым дошёл до ног. Руки сжаты. Ей снилось.

Что — я не знал. Я знаю, что людям снится. Мне снилось когда-то, до тринадцати. Это мне тоже как чужое.

Моё сердце било в такт с её. Я стоял и чувствовал её страх внутри себя — не мысль о страхе, а сам страх, его тело: тяжесть в груди, холод в руках, горло. И я понял, что это и есть то,

о чём мне говорили двести четырнадцать раз, когда я вязал верёвку. «Мне страшно, мастер». Я кивал. Я не знал, что это.

Теперь знал.

Я не стал её будить. Будят — вскакивают, бьются. Я подошёл и сел на пол у кровати, спиной к стене, как сижу всегда. Близко. Так, что моё плечо касалось края тюфяка. Я не трогал её. Я не знал, можно ли, и не знал, зачем, — но мне показалось, что если сидеть рядом, то это, внутри, будет меньше. Не знаю почему. Я никогда ничего не делал потому что «показалось».

Я сидел. Я считал её вдохи. Сорок, пятьдесят, семьдесят. На восьмидесятом они стали ровнее. На сотом сердце у меня отпустило.

Она открыла глаза. Я увидел, как они блеснули в темноте, и как она повернула голову, и увидела меня — рядом, на полу, на расстоянии ладони.

Она не закричала. Я думал, закричит.

— Что ты здесь... — Голос был сорванный. Она не договорила.

Я не ответил. Я не знал, что ответить. Я сидел и смотрел перед собой, на дощатую дверь.

Она долго смотрела на меня. Потом повернулась лицом к стене. Она не сказала «уйди». Я остался.

До утра я считал её вдохи и ни разу не сбился.

* * *

На четвёртый день меня вызвал Вейн. Доложить, что я слышал в камере. Я шёл по галерее и думал, что скажу: слова, все, по порядку. Я помню их.

Дверь кабинета была приоткрыта на ладонь. Я остановился, как положено, в трёх шагах, и ждал, когда позвучит. Из-за двери говорили. Два голоса — его, мягкий, и сухой женский. Агата.

— ...на ступнях уже новая кожа. Ещё дней шесть, и он перестанет чувствовать ожоги. Останется голод, холод, ушибы. Если она не придумает ничего нового.

— Придумает. — Вейн сказал это с одобрением. — Она умная женщина. Это хорошо. Глупая не сплела бы такого. Вы уверены, что узлы не слабеют?

— Я в них ничего не уверена. Я их вижу впервые. Но нет — они не слабеют. Они как будто... укладываются. Как корень в землю.

— Прекрасно. — Шорох бумаги. — Тогда слушайте меня внимательно, сестра. Узлы должны дожить до Ночи Пепла. Не раньше и не позже. Если она умрёт до того — я потеряю обоих и начну всё сначала, а времени у меня нет. Если что-то случится после — это уже не будет иметь значения. Вы понимаете?

— Я понимаю, что вы мне говорите не всё, ваша милость.

— Разумеется. — Снова мягко. — Вы учёная, сестра. Вам и не нужно всё. Вам нужно, чтобы они оба дожили. Остальное — моя забота.

Пауза. Звук очков — снял, протёр. Доволен.

— Мастер, вероятно, уже за дверью. Он всегда приходит точно. Войдите, мастер.

Я вошёл. Я доложил. Слова проклятия, все, по порядку, как положено. Вейн записал их, не перебивая, посыпал песком, подул. Спросил, что я чувствую. Я сказал: ступни, живот, холод. Он кивнул, как кивают, когда ответ сходится с тем, что уже написано.

— Хорошо. Идите, мастер. Берегите её.

Я вышел.

Я шёл обратно по галерее и считал шаги — сто семь до башни — и сбился на шестидесятом. Я никогда не сбивался. Я остановился и начал заново.

Ночь Пепла. Я не знал, что это. Я знал все праздники Ордена, все посты, все дни, когда не казнят. Такого не было. Но Вейн сказал: «дожить до». И сказал: «после — не будет иметь значения». Я положил это туда, где лежит всё, чего я не понимаю.

Оно туда не поместилось.

Двадцать лет я выполнял приказы. Это просто: тебе говорят — ты делаешь. Внутри ровно. Мне сказали: беречь. Я берёг. Я кормил, грел, менял повязки, сидел ночью на полу. Всё было правильно.

А сейчас я стоял на галерее, на шестидесятом шаге, и впервые в жизни приказ мне не нравился.

Я не знал, что это слово значит — «не нравился». Я знал только, что оно пришло вместе с остальными, с голодом, холодом и её страхом в моём горле, и что я не могу его положить обратно.

Глава 5. Имя

Велена

Любое растение можно сломать, если знаешь, где у него узел.

Я изучала палача пять дней, как изучают незнакомую траву: где корень, где стебель гнётся, где ломается, что он пьёт и когда спит. Спит сидя, у двери, ровно столько, сколько горит полсвечи, и просыпается весь сразу. Пьёт на ночь отвар — из кружки, которую приносит с кухни и уносит обратно, чтобы я не трогала. Ест хлеб и воду. Ходит на кухню два раза в день, утром и в сумерках, и отсутствует ровно столько, сколько нужно, чтобы спуститься и подняться, — я мерила по колоколу. Четверть свечи. Не больше.

Четверть свечи — это много, если знаешь, что делать.

Окно в моей комнате было щелью в ладонь, в него не протиснулась бы и кошка. Но дощатая дверь не запиралась, и за ней была его комната. Я зашла туда на третий день, пока он ходил за ужином, — просто посмотреть. Голые стены. Полка, на ней кружка и книга — книга, пепел меня побери, у палача, толстая, в потёртой коже, — я не успела посмотреть какая. Тюфяк на полу, нетронутый: он спал не на нём. И окно. Настоящее, со ставнем, в полтора локтя. Под ним — крыша нижней галереи, аршина три вниз, а с крыши — двор, а со двора — Слобода и ворота.

Простыни у меня было две. У него на тюфяке — одна.

В сумерках шестого дня, когда дверь за ним затворилась, я досчитала до двадцати — чтобы спустился с лестницы — и встала.

Ступни уже держали. Кожа была новая, тонкая, розовая, но я ходила по ней осторожно, как по чужой. Я скрутила простыни в жгут, связала узлом, который бабка звала «рыбьим» и который держит и сома, и покойника, — привязала к ножке его тюфяка... нет, тюфяк лёгкий. К скобе ставня. Скоба была вбита в камень. Я подёргала. Держит.

Я вылезла в окно спиной вперёд, как вылезают из погреба, и повисла на простыне.

Полотно было грубое, сырое, оно резало ладони, и я тут же подумала: он почувствует. Пусть. Пусть чувствует, что я ухожу. Три аршина — это ничего, я спускалась из окна в Ольховке к Марте, когда у той начались роды, и там было выше. Я переставила руки. Ещё. Нога нащупала край черепицы.

Узел поехал.

Не «рыбий» — тот, что на скобе. Скоба была вбита в камень, но камень был песчаный, как в камере, и я это знала, пепел меня побери, я точила об него ноготь. Простыня дёрнулась, я ухнула вниз на последний аршин, черепица выскользнула из-под ступни, и я села на крышу галереи так, как садятся на лёд, — всем весом на подвёрнутую правую ногу.

Хрустнуло. Не кость. Я знала этот звук: так хрустит связка. Боль пошла от лодыжки вверх, горячая, как кипятик из опрокинутого котла.

И в тот же миг наверху, в комнате, что-то грохнуло об пол. Что-то большое.

— Пепел!.. — сказал голос, которого я не слышала никогда. Низкий, хриплый, но живой, ошеломлённый, как у человека, которого ударили в темноте. — Чтоб тебе терн в горло!

Я сидела на крыше галереи с горячей лодыжкой, с рваной простынёй в руках, и смотрела на окно.

Он ругался. Безмолвный. Он умел. Он вернулся раньше — четверть свечи ещё не вышла, — и споткнулся, видно, на пороге, когда его подсекло моей ногой, и полетел на пол. И пожелал мне терна в горло. Мне. Терновой ведьме.

Я засмеялась.

Это было некстати: лодыжка пухла на глазах, под крышей ходила стража, я сидела на виду, как кошка на заборе. Но я смеялась, зажимая рот, до слёз, до икоты, — так я не смеялась с ареста, а может, и дольше, — и сквозь смех в груди шевелилось что-то мелкое и стыдное, как

мышь под полом. Мне было стыдно, что смешно. Мне было смешно, что стыдно. Я вытерла глаза.

В окне появилась маска.

Он посмотрел вниз. Он посмотрел на простыню, на крышу, на мою ногу. Он ничего не сказал. Он перегнулся через подоконник, ухватил простыню — ту часть, что осталась на скобе, — обмотал вокруг кулака и спустился по ней на крышу. Три аршина. Беззвучно, несмотря на то что весил, как добрый бык.

— Не трогай, — сказала я. — Сама.

Он подхватил меня на руки.

* * *

— Я могла дойти.

— Нет.

— Я лекарь. Я знаю, что могла.

— Ты лекарь. — Он опустил меня на кровать и сел на пол, как садился всегда, и взял мою правую ногу за пятку. — Поэтому знаешь, что нет.

Я знала. Лодыжка налилась и стала похожа на репу. Я бы сама велела любому: лежать, холод, тугая повязка, неделю не наступать. Любому. Себе я бы велела идти.

Он размотал холстину с моей ступни — ожоги, они ещё были под повязкой, — и посмотрел на лодыжку. Его пальцы легли по обе стороны косточки, осторожно, и нажали. Я зашипела. Он — тоже, сквозь зубы, одновременно со мной, и это было так дико, что я на миг забыла, что мне больно.

— Связка, — сказал он. — Не кость.

— Я знаю.

— Я тоже. — Он чуть повернул ступню. Я ахнула; он выдохнул. — Теперь — оба.

Он ушёл и вернулся с кувшином холодной воды и чистой тряпкой. Мочил, прикладывал, снова мочил. Потом стал бинтовать — туго, «восьмёркой», как бинтуют лошадям бабки и лекари, от стопы вверх через пятку и обратно, — и я смотрела на его руки и ловила себя на том, что смотрю не как лекарь. Руки были огромные. Ладони ещё в повязках, пальцы обожжённые, в свежей розовой коже, и эти пальцы ложились на мою лодыжку, как кладут на что-то, что может разбиться. Большой палец упёрся во впадину под косточкой, и я почувствовала его тепло сквозь холодную мокрую ткань, и это тепло было совсем не к месту.

Он сидел близко. Ближе, чем в камере. Я видела его дыхание — оно двигало прорези маски. Я видела ресницы в прорезях. Тёмные, длинные, каких не бывает у палачей. У палачей, пепел побери, не бывает и ресниц.

— Ты дышишь мне в колено, — сказала я.

— Я бинтую.

— Можно бинтовать и не дыша.

— Нет, — сказал он серьёзно. — Нельзя.

Я закусила губу — здоровую, с другой стороны. Он завязал концы повязки, подоткнул, провёл ладонью сверху, проверяя, ровно ли. Ладонь прошла по моей голени, от щиколотки до середины икры, и остановилась. Всего на миг. Потом он убрал руку и отодвинулся — ровно на один шаг, как отодвигаются от печи.

— Неделю не наступать.

— Пепел тебя побери, я знаю.

— Знаешь, — согласился он. — Но наступишь.

Я хотела возразить и не стала. Он был прав. Он всё время был прав, и это было самое невыносимое в нём — хуже маски, хуже рук.

* * *

Вечером он принёс ужин и — в другой руке — кружку. Свою. Он пил из неё за своей дверью каждую ночь, перед тем как сесть спать, и уносил пустую утром. Сегодня дверь была открыта, а я лежала с поднятой ногой и не могла до неё добраться, и ему, видно, стало всё равно.

От кружки пахло. Горьковато, травяно, тепло.

— Что это?

— Отвар.

— Я вижу, что отвар. Какой?

— Для сна.

Он сел на свой табурет у двери и стал пить. Я смотрела, как двигается его горло под застёгнутым воротом, и думала, что под этим воротом он прячет мой терн.

— Как тебя зовут? — спросила я.

Кружка остановилась.

— Безмолвным нельзя называть имя при исполнении.

— Ты не исполняешь. Ты нянчишь. Бинтуешь лодыжки и носишь мёд. — Я приподнялась на локте. — Я живу с тобой за одной дверью шестой день. Я прокляла тебя, в конце концов. Не могу же я проклинать человека без имени. Это неприлично.

— Проклятие сработало и без имени.

— Это потому, что я хороша. Но мне неудобно. Я ночью думаю: «чтоб он сдох» — и не знаю, кто «он».

Он молчал. Я видела, что он думает: плечи, чуть повёрнутая голова. Я уже умела это читать, как читают погоду по дыму из трубы.

— Давай так, — сказала я. — Пари. Я угадаю, что в твоей кружке. Какая трава. Угадаю — скажешь имя. Не угадаю — я неделю не наступаю на ногу. Честно, без хитростей, клянусь терном.

— Ты и так не наступишь.

— Наступлю. Ты сам сказал.

Он посмотрел на кружку. Потом на меня. Потом — и это было то, чего я ждала, — чуть наклонил голову, как наклоняет собака, услышав знакомый звук.

— Хорошо.

— Дай понюхать.

— Нет. Отсюда.

Я закрыла глаза и втянула воздух. Пять дней я жила с этим запахом за дверью, я знала его, как знают запах соседского дыма. Горечь — но не полынная, мягче, с хмельной сладостью, как в пиве, которое не допили. Хмель. Это точно хмель, шишки, сушёные, заваренные крутым кипятком. Но был ещё второй, под ним, — тяжёлый, травяной, чуть затхлый, как сено в мокрую осень. Так пахнет... так пахнет пустырник. Бабка поила им мужиков, которых по ночам не держала земля.

И третье. Совсем еле-еле. Острое, пряное, корневое. Я почти засмеялась.

— Хмель, — сказала я. — Шишки. И пустырник — ты берёшь верхушки, не стебель, стебель грубит. И — пепел меня побери — ты кладёшь туда кусочек корня дягиля. Чтобы не горчило. Так делают в Слободе, у нас в Ольховке дягиль не кладут. Так, палач?

Тишина.

Он поставил кружку на пол.

— Северин, — сказал он.

Ничего не изменилось. Комната, свеча, щель окна под чёрным плащом, повязка на ноге. Но слово лежало между нами, как положенная на стол вещь, и его уже нельзя было взять обратно. Северин. Не «палач». Не «мастер». Не «Безмолвный». Северин — как зовут соседа, брата, мужчину за столом.

Я не знала, что с ним делать, с этим словом. Я его хотела — а теперь оно было у меня, и оно оказалось тяжелее, чем я думала.

— Хорошее имя, — сказала я, чтобы что-то сказать. — Северное. Холодное.

— Отец выбирал.

— Он тоже?..

— Да.

— А мать?

— Умерла. Я был мал.

Я помолчала. Моя — тоже, хотела я сказать, но это было не то, что говорят палачу. Вместо этого я сказала:

— Моя учила меня травам. Всё, что я знаю, — от неё. Дягиль, хмель, пустырник. Она бы твой отвар узнала с порога.

Он сидел не шевелясь. Потом его правая рука поднялась и легла на бок, на куртку, там, где карман. Легла и осталась, как ложится рука на живот, когда болит. Пальцы чуть сжались сквозь ткань, будто нащупали что-то маленькое и твёрдое.

Я заметила. Я замечаю всё, что движется, — это от трав, они двигаются медленно, и привыкаешь. Но я ничего не подумала. Болит, решила я. Я же лежу тут, с лодыжкой. Может, у него что-то своё.

— Спи, Северин, — сказала я. И мне самой стало не по себе от того, как это прозвучало. Как будто я говорю это не в первый раз.

Он ушёл за дверь. Он не закрыл её — он никогда теперь не закрывал.

* * *

Агата пришла поздно, когда свеча догорела до половины, со своей сумкой и своей хромотой. Посмотрела на мою повязку, хмыкнула — ей понравилось, я видела, — и ничего не стала переделывать.

— Вы лазили в окно, — сказала она не спрашивая.

— Я падала с крыши. Это разное.

— Разумеется. — Она присела на край кровати, что было для неё непривычно: она всегда садилась на табурет. Наклонилась. И вдруг заговорила совсем тихо, одними губами, глядя не на меня, а на дощатую дверь, за которой он сидел.

— Слушайте. Завтра Вейн назначил проверку уз. При писарях. Он хочет видеть, как это работает, — на бумаге, с цифрами. Это будет неприятно. — Пятнистые пальцы сжали ремень сумки. — Не сопротивляйтесь. Что бы он ни делал — не кусайтесь, не плюйте, не колдуйте. Вы меня слышите?

— Я вас слышу. Я не обещаю.

— Пообещайте. — Светлые глаза наконец повернулись ко мне, и в них не было ни научного интереса, ни сухости. — Если вы будете драться, Вейн найдёт другой способ. Он всегда находит. И тогда будет хуже. Вам обоим.

Она встала, взяла сумку и ушла, хромая, и засов снаружи лёг в скобу.

Я лежала и смотрела на щель дощатой двери. За ней сидел человек, у которого теперь было имя, и спал сидя, и, наверное, не слышал.

— Северин, — сказала я в темноту. Негромко. Проверяя, как проверяют лёд.

— Да.

Не спал.

— Ты слышал.

— Да.

— И что?

Пауза. Я слышала, как он дышит, — ровно, медленно, как всегда. Потом доска скрипнула: он, кажется, повернул голову к щели.

— Спи, — сказал он. — Завтра не наступай на ногу.

И всё. Ни «не бойся», ни «я буду рядом» — ничего из того, что говорят люди. Только это. Но я почему-то повернулась на бок, подтянула повязанную ногу и закрыла глаза, и лодыжка болела, и это было ничего.

«Вам обоим», сказала Агата. Не «вам». Обоим.

Она говорила так, будто я уже не одна.

Глава 6. Тридцать дней

Велена

Иголка была серебряная. Вейн показал мне её, как показывают ребёнку ложку перед горьким: вот, смотри, ничего страшного.

— Серебро не оставляет грязи в ране, — пояснил он. — И не вызывает нагноения. Я не хочу, чтобы вы потом болели, сударыня. Это было бы некстати.

Зал был длинный, с низким потолком, и в нём пахло чернилами и ладаном. За столом сидели три писаря — три серых затылка, три пера, три стопки бумаги. Четвёртый стоял у дальней двери, маленькой, обитой железом, и держал наготове дощечку с грифелем. Агата сидела в углу, на табурете, с сумкой на коленях. Она на меня не смотрела.

Северина увели за ту дверь. Я видела, как он входил — широкая спина, застёгнутый ворот, — и как дверь закрылась, и как писарь у двери приложил к ней ухо, будто к бочке, в которой бродит.

Меня посадили на стул посреди зала. Ноги не доставали до пола: стул был высокий, писарский. Лодыжка в тугой повязке торчала вперёд, как чужая. Северин принёс меня сюда на руках.

Утром он вошёл, посмотрел на мою повязку и сказал: «Писари ждут». Я сказала, что дойду. Он сказал: «Нет». Я сказала, что это моя нога. Он сказал: «И моя». На это у меня не нашлось ответа, и он поднял меня с кровати — как поднимают мешок с мукой, бережно и без разговоров, — и понёс.

— Что он будет делать? — спросила я ему в ворот на лестнице.

— Не знаю.

— Ты будешь там?

— За стеной. Так велено.

— Хорошо, — сказала я. — Хоть не увижу.

Он не ответил, но шаг у него на миг сбился — я почувствовала это щекой через ткань. Потом выровнялся.

На галерее стоял Ульрик с двумя братьями. Он посмотрел на нас так, словно хотел плюнуть, но не знал, в кого первого.

— Носишь свою ведьму, нечистый? — сказал он. — Смотри не урони. А то сам хлопнешься.

Он засмеялся — коротко, лающе, — и братья засмеялись с ним. Северин прошёл мимо, не повернув головы. Я повернула. Я запомнила это лицо: широкое, красное, с бородой в рыжину, с маленькими глазами, которые уже всё решили про меня и про него. Такие лица я знала по Ольховке. Такие первыми кричат «ведьма» и последними уходят с площади.

У двери зала я попросила поставить меня на ноги. Северин поставил. Я прошла три шага сама, хромая, и села на этот стул, и это были самые длинные три шага в моей жизни, не считая ста двенадцати до столба.

— Руку, будьте любезны.

Я положила левую руку на стол ладонью вверх. Я решила это ещё ночью: левую. Правая мне нужна для трав.

Вейн сел напротив. Снял очки, протёр, надел. Взял мою кисть — пальцы у него были сухие и тёплые, как у хорошего лекаря, и от этого было гаже всего, — и повернул к свету.

— Левая рука. Указательный палец, — произнёс он вслух, для писарей. Три пера заскрипели. — Укол неглубокий.

Игла вошла в подушечку. Коротко, остро, я и в детстве кололась так о бабкину прялку по пять раз на дню. Я не шевельнулась.

За железной дверью — глухо, через камень — что-то стукнуло.

— Вздрогнул, — сказал писарь у двери. — Левой рукой. Ваша милость, он... посмотрел на руку.

— Запишите, — сказал Вейн. — Средний палец. Глубже.

Игла. Чуть больнее. Капля крови выступила и повисла, тёмная.

Стук.

— Вздрогнул. Сжал кулак.

— Безымянный.

Стук.

— Мизинец.

Он взял мой кривой мизинец — тот, что сросся не так, — и чуть помедлил, разглядывая. Я видела, как он отметил: старый перелом. Он отмечал всё, как Северин, только Северин отмечал, чтобы довести целым, а этот — чтобы знать, где ломается.

Игла.

— Вздрогнул. Ваша милость... он тронул свой мизинец. Левый. Потёр.

Я сидела и смотрела на капли крови на четырёх пальцах, и во мне поднималась злость — хорошая, крепкая, как настой на корне, — злость, которая держит спину. Он хочет, чтобы я кричала. Или хотя бы дёрнулась. Хоть как-то показала, что это работает с обоих концов. Не дождётся. Я лекарь. Я вправляла вывихи взрослым мужикам, которые орали так, что гасли свечи. Четыре иголки — это ничто. Это семечки.

— Прекрасно, — сказал Вейн. — Теперь — расстояние.

Он кивнул, и писарь у двери открыл её. Я мельком увидела Северина: он стоял у стены, прямой, маска, руки по швам. Он не посмотрел на меня. Или посмотрел — я не разобрала за прорезями. Двое братьев-стражей взяли его под локти и повели куда-то дальше, по коридору, и дверь закрылась.

— Мастера отведут на дальнюю галерею, — объяснил Вейн, снова беря иглу. — Это шестьдесят шагов и три стены. Посмотрим, достанет ли.

— Вы бы ещё в Слободу его отвели, — сказала я. — Чтобы наверняка.

— Отведу, — согласился он. — В другой раз.

Он ждал, пока писарь не вернулся и не кивнул: на месте. Потом взял мою правую руку.

— Левую, — сказала я.

— Левую мы уже знаем. — Он повернул мою правую ладонь к свету, и я увидела, как его взгляд прошёл по мозолям, по шраму от серпа, по въевшейся в складки зелени, которую не отмыть. — Вы правша. Это важно. Правая рука чувствует иначе.

Игла вошла в большой палец правой руки. Глубже, чем раньше. Он не вынул её сразу — подержал.

Я стиснула зубы.

И тут, сидя на высоком стуле, с иглой в большом пальце, с чужим стариком, который держал мою руку, как держат перо, — я вдруг поняла, что держусь не за себя.

То есть — за себя тоже. Назло. Чтобы ему не досталось моего крика, как не досталось его пера дознавателю на дворе. Но под этим, глубже, как второй вкус в отваре, было другое. Я держалась, потому что в шестидесяти шагах и трёх стенах отсюда стоял человек, который чувствовал то же самое, — и не мог ни стиснуть зубы заранее, ни знать, когда кончится. И если я дёрнусь, если ахну, то ему станет не легче и не тяжелее. Но я всё равно не хотела. Мне не хотелось, чтобы он думал, что я...

Что я что?

Я не знала. Я знала только, что мысль мне не нравится. Она была как выюнок на грядке: пока заметишь — уже обвил.

— Вздрыгнул, — донеслось от двери. Писарь бегал туда и обратно, запыхался. — Ваша милость, на дальней галерее. Достает.

— Запишите: шестьдесят шагов, три стены, без ослабления.

Вейн вытащил иглу. Промокнул мой палец чистой тряпицей, аккуратно, и даже подул, как дуют на ребёнка. Я чуть не отдернула руку. Не от боли.

— Мы почти закончили, сударыня. Последнее.

Он отложил иглу. Сложил руки на столе.

— Ущипните себя. Сами. Где хотите.

Я посмотрела на него.

— Мне важно знать, — сказал он почти ласково, — передаётся ли боль, которую вы причиняете себе по своей воле. Есть разница между тем, что делают с нами, и тем, что мы делаем с собой. Терновые записи говорят об этом неясно.

— Нет.

— Это не займёт...

— Нет, — повторила я. — Я лекарь. Я не делаю больно. Ни себе, ни ему. Хотите — колите. Это ваше ремесло, не моё.

Он смотрел на меня долго. Я ждала, что он разозлится — хоть так, хоть чуть-чуть, хоть бровью. Он улыбнулся. Коротко, аккуратно.

— Как угодно. — Он повернулся к писарям. — Запишите: отказалась. Полагаю, это тоже ответ.

Я не поняла, какой. Я поняла только, что ему понравилось. Он снял очки и протёр их.

* * *

В тот же час, не отпуская меня из зала, он велел прочесть указ.

Писарь встал с бумагой — я видела в углу чашу, печать Ордена, — и прочёл, как читал тот, на дворе, только теперь никто не плевал ему на сапог. «...казнь приговорённой Велены, именуемой Тёрн, отложить на тридцать дней, считая от дня исповеди, для изучения ведовского действия, именуемого узами, в интересах Ордена и короны. По истечении срока — привести в исполнение, если иного не постановит Верховный Дознаватель».

Тридцать дней.

— Чтобы вы знали, сударыня, — сказал Вейн, — и не строили лишних надежд. Срок есть срок.

— Какое великодушие.

— Порядок. Великодушие — это другое.

Северина привели обратно. Он вошёл в зал, и я увидела, что он бледен — не лицом, лица не было, а губами под маской, — и что он держит левую руку в правой, как держат ушибленную. Он посмотрел на мои пальцы, на пять тёмных точек. Потом на меня. Потом подошёл и, не спрашивая, поднял меня со стула на руки, и понёс, и писари смотрели нам вслед, и перья у них остановились.

— Ты сел на пол, — сказала я ему в ворот, когда мы были на галерее и писари остались позади. — На мизинце. Писарь сказал.

— Да.

— Из-за иголки?

Он шёл, считая, я чувствовала счёт по шагам.

— Нет, — сказал он. — Из-за того, что ты молчала. Я ждал, что ты крикнешь. Было бы легче знать когда.

Я замолчала. Это было, наверное, единственное, что я могла сделать.

* * *

Агата пришла к вечеру — сама, без вызова, — и села не на табурет, а на край кровати, как вчера. Смазала мне пальцы, все пять, чем-то вязущим. Посмотрела на повязку на лодыжке, хмыкнула.

— Вы молодец, — сказала она. — Я боялась, что укусите.

— Я думала об этом.

— Знаю. У вас лицо было такое. — Она закрыла плошку. — Вейн доволен. Это плохо.

— Почему?

Она посмотрела на дощатую дверь — щель, за ней тишина: Северин ушёл за ужином, я слышала засов. Агата понизила голос, но не до шёпота. Она говорила, как говорят урок: ровно, по порядку, не давая перебить.

— Слушайте, что я знаю о терновых узах. Этого мало. В архиве Ордена есть три листа и полкниги, остальное сожгли вместе с теми, кто писал. Узы — это не заклятие, которое висит и можно снять. Это побег. Он прорастает. В первые дни он — нитка, потом корень, потом ствол. Снять их может только та, кто плела. Своей кровью, по своей воле. Вы.

— Это я знаю.

— Знаете. А это? — Она подняла палец в чернилах. — Пока побег не укоренился, вырвать его — значит вырвать с тем, во что он врос. Если вы снимете узы сейчас — он умрёт. Не вы. Он. Это написано дважды, разным почерком, и один раз — на полях, той, кто пробовала. Я верю полям.

Я молчала. Пальцы под мазью ныли, все пять, и я подумала, что сейчас у него ноют те же.

— А потом?

— Потом корень врастает. Записи говорят — на тридцатый день. «Тридцать ночей, и терн станет костью». После этого узы снять нельзя никак. Они — навсегда. Вы будете связаны до смерти, и ваша смерть убьёт его так же, как сейчас. Только снять уже будет некому.

— Тридцать дней, — повторила я.

— Да.

— Казнь отложена на тридцать дней.

— Да. — Светлые глаза смотрели на меня не мигая. — Ровно. Считая от дня исповеди. Вы заметили. Я тоже.

Я села в кровати, подтянув больную ногу. За окном под чёрным плащом стемнело. Где-то внизу, на кухне, человек, которого я прокляла, брал у кухарки похлёбку, и кухарка клала сдачу на стол.

— Значит, он подождёт, — сказала я медленно, — пока узы прорастут. Пока их нельзя будет снять. И тогда сожжёт меня. И Северин... — я запнулась на имени, оно было ещё непривычным во рту, — умрёт со мной. Так? Два костра за один хворост. Это ему и нужно? Избавиться от палача, который закричал?

— Нет.

Агата сказала это так твёрдо, что я замолчала.

— Нет, — повторила она тише. — Я тридцать лет живу в Цитадели, сударыня. Я знаю, как Вейн избавляется от того, что ему не нужно. Он не ждёт тридцати дней. Он не возрождает обычаев, которых не применяли сорок лет. Он не записывает, на скольких шагах достаёт боль. — Она наклонилась ближе, и я почувствовала запах чернил и облепихи. — Он не собирается вас сжигать. Ему нужно от вас что-то другое. Что-то, для чего узы должны быть целы и прочны, как кость.

— Что?

— Я пока не знаю.

Она встала, взяла сумку. У двери обернулась — хромая, сутулая, старая женщина с глазами как вода в ложке.

— Но я узнаю, — сказала она. — Я умею искать. А вы — не давайте ему больше ничего. Ни крика, ни щипка. Ничего, чего он просит. Он просит только то, что ему нужно.

Засов лёг в скобу.

Я осталась сидеть. Тридцать дней. Семь уже прошло. Двадцать три. Я пересчитала на пальцах — на уколотых, они ныли — и подумала, что считаю, как он. Это было смешно. Мне не было смешно.

Что-то другое. Что-то, для чего нужны узы. Не моя смерть — моя жизнь. Моя боль, которую чувствует другой, — у Вейна в руках, как игла.

Я посмотрела на свои пять пальцев и впервые подумала не о том, как выбраться отсюда, а о том, зачем я ему живая.

Глава 7. Кровь из носа

Северин

Пальцы у неё зажили на девятый день. Я знал это раньше, чем размотал холстину: ночью они перестали ныть у меня.

— Не надо, — сказала она, когда я взял её руку. — Там уже ничего нет.

— Посмотрю.

Я посмотрел. Пять точек, сухие, тёмные, как семена. Я провёл по ним большим пальцем. Она не отняла руку. Я заметил это. Я замечал теперь много такого, чего раньше не считал.

— Ты как собака с костью, — сказала она. — Выкопал, понюхал, закопал. Отдай.

Я отдал. Она спрятала руку под одеяло, под мой плащ — она теперь укрывалась им, а не только завешивала окно, — и посмотрела на меня снизу, из-под обрезанных волос.

— За тобой приходили. Я слышала.

— Вейн зовёт.

— Опять докладывать?

— Не знаю.

— Что ты ему скажешь?

Я не ответил, потому что не знал. Я собирался сказать правду. Я всегда говорю правду, это просто — говоришь, что было. Но за последние девять дней «что было» стало большим и непонятным, и я не был уверен, что смогу уложить его в слова, которые Вейн запишет и pošлет песком.

— Засов снаружи, — сказал я. — Ключи у Вейна и у Ульрика. Больше ни у кого.

— Я знаю.

— Я вернусь через полсвечи.

— Иди уже, — сказала она. — Нянька.

Я вышел. Я задвинул засов сам и дёрнул его, проверяя. Это тоже было новое: я никогда не проверял то, что сделал. Я делаю один раз.

На лестнице меня ждала Агата. Она стояла на площадке, прислонившись к стене, чтобы не нагружать ногу, и когда я поравнялся, сказала:

— Ворот.

Я остановился. Она подошла, отогнула край ворота — ей пришлось подняться на ступень, чтобы достать, — и посмотрела. Пальцы в чернилах легли на мою шею, слева, на узор. Прохладные. Я почувствовал их — не как её боль, а просто: кожа на коже. Раньше я не замечал, когда меня трогают.

— Растёт, — сказала она. — На палец за неделю. Уже под ухом. — Она отпустила ворот. — Через неделю будет на скуле, и маска не закроет. Вы это знаете?

— Нет.

— Теперь знаете. — Она посмотрела на меня снизу вверх, светлыми глазами. — Он спросит вас о чувствах, мастер. Не о её — о ваших. Подумайте, прежде чем отвечать.

— Я всегда отвечаю правду.

— Знаю, — сказала она. — Поэтому и говорю.

Она захромала вниз, не оборачиваясь. Я стоял и думал над этим двадцать ступеней. Я не понял. Я понял позже, в кабинете, когда было поздно.

* * *

В кабинете пахло воском и ладаном. Вейн писал. Дописал, посыпал, подул.

— Мастер. Как ваши руки?

— Зажили, ваша милость.

— А её?

— Тоже.

— Хорошо. — Он отложил перо. — Я хотел поговорить с вами не о ранах. О другом. Сядьте.

Я не сел. Он не настаивал. Он снял очки, протёр, надел, и я подумал, что он доволен чем-то, чего ещё не произошло.

— Скажите мне, мастер. Вы чувствуете её боль. Это установлено, записано, измерено. Но чувствуете ли вы что-нибудь ещё? Не боль. Её — как бы это назвать — состояние. Страх. Злость. Когда она сердится — у вас что-нибудь отзывается?

Я вспомнил ночь, когда проснулся с её сердцем в своей груди. Страх — не мысль о нём, его тело. Горло, холод в руках.

— Нет, ваша милость.

Я сказал это раньше, чем решил. Слово вышло само, ровно, как выходили все слова за двадцать лет, и только когда оно уже лежало на столе между нами, я понял, что оно неправда.

Я никогда не говорил неправды. Не потому, что это грех. Потому что незачем: инструмент не врёт. А сейчас — сказал, и внутри у меня при этом было как при первом шаге в хвост: что-то сдвинулось и не вернулось.

Вейн кивнул. Записал.

— А ваше собственное? — спросил он мягко. — Вы сами, мастер. Не от неё — от себя. Вы что-нибудь чувствуете? Вы ведь прошли Причастие, как все. Стекло должно держать. Держит?

Я вспомнил, как мне не понравился приказ. Как было «хорошо», когда её живот перестал болеть. Как я сбился со счёта.

— Держит, ваша милость.

Вторая. Я насчитал две.

— Прекрасно. — Он улыбнулся, коротко. — Это важно, мастер. Видите ли, инструмент, который начинает чувствовать, — это уже не инструмент. Это... поломка. Я бы очень не хотел, чтобы с вами случилась поломка. Вы лучший из тех, кого я знал.

— Да, ваша милость.

— Ещё одно. Сестра Агата сказала мне...

Щёку обожгло.

Правую. Резко, со звоном, как бывает, когда ударят ладонью наотмашь, — я знаю этот звук снаружи, по другим. Голова у меня дёрнулась вбок сама. Я не удержал.

Вейн замолчал на полуслове и посмотрел на меня поверх очков.

Я стоял. Щёка горела, во рту появился вкус железа — не моего. Это было не здесь. Это было там, в башне, за сто семь шагов и две стены. Кто-то ударил её по лицу.

— Мастер?

Второй удар пришёл ниже. В живот, под рёбра, тупой, тяжёлый, кулаком. Меня согнуло. Я упёрся рукой в край стола, чтобы не упасть, и услышал, как у меня вырвался воздух — хрипло, как из мехов.

Вейн не встал. Он взял перо.

— Что вы чувствуете? — спросил он. Голос был заинтересованный, ровный. — Опишите.

— Бьют, — сказал я. — Её.

— Где?

— Лицо. Живот.

Третий. Снова лицо, другая щека, и что-то тёплое потекло у меня под носом. Я тронул. Кровь. Моя. Я смотрел на красное на пальцах и не понимал — у меня никогда не идёт кровь из носа, меня били по лицу десятки раз в юности, отец, братья в Слободе, — и ни разу.

— Кровь из носа, — сказал Вейн себе под нос и записал. — Любопытно. Значит, есть порог. Сильные повреждения отзываются в теле. Это надо проверить отдельно... Мастер, не уходите. Я ещё не...

Я уже шёл.

Я не спросил разрешения. Я заметил это только на галерее, на двадцатом шаге: я вышел из кабинета Верховного Дознавателя, не дождавшись слова «идите». Такого не было ни разу. Я не остановился.

* * *

Сто семь шагов. Я их не считал. Я бежал.

Безмолвные не бегают. Это отец говорил: палач идёт. Куда бы ни шёл — к столбу, от столба, домой, — он идёт, и люди расступаются. Бегущий палач — это страх, а страх — это толпа, которая ломает помост. Я знал это двадцать лет.

Я бежал. Галерея, лестница, пролёт, ещё пролёт. Кровь из носа капала на куртку. В животе ещё держалась тупая тяжесть от второго удара, а на четвёртом шаге лестницы пришёл четвёртый — в плечо, глухо, об стену, — и я понял, что её толкнули, что она упала, что она не может встать как следует, потому что лодыжка.

Дверь башни была открыта. Засов отодвинут. Снаружи стояли двое братьев-стражей, и когда они увидели меня — с кровью на лице, без шага, бегущего, — они не стали заступать дорогу. Я видел их лица. Я не остановился, чтобы их запомнить.

Внутри.

Она сидела на полу у стены, под окном, там, где упала. Губа разбита — снова, та же, нижняя, по старому. Щека красная. Рука прижата к животу. Волосы, обрезанные, в глаза. Она смотрела вверх.

Над ней стоял Ульрик.

Он стоял, расставив ноги, и говорил что-то — я не слышал что, я видел только, как шевелится борода, — и правая рука у него была поднята, ладонью, для следующего. Он услышал меня. Он обернулся. Он успел увидеть маску и кровь, и, кажется, успел удивиться.

Я ударил его в челюсть.

Это было не решение. Я не умею бить людей — не так: я умею связывать, держать, вести, резать верёвку, поднести факел. Кулаком в лицо я не бил никогда, и кулак пришёл криво, костяшками в кость, и в руке у меня что-то хрустнуло — в пальцах, в двух или трёх. Я это отметил. Я не почувствовал. Своё не считается.

Ульрик качнулся назад. Он был тяжёлый, он устоял, и правая рука его всё ещё была поднята — по привычке, для удара, который он уже не помнил.

Я взял эту руку.

Выше кисти, за предплечье, обеими своими. Я знаю, где ломается. Это моя работа: кость, сустав, направление. Локоть — вот так, под углом, и он идёт не туда, куда сделан. Я сделал это один раз, коротко, точно, как делаю всё.

Звук был такой же, как снаружи. Я знал, что будет такой.

Ульрик закричал. Он опустился на колени, держа локоть, и кричал, и это был громкий, высокий, растерянный крик человека, который никогда не ждал, что это случится с ним. Братья в дверях зашевелились. Я повернул к ним голову. Они перестали.

Я не сказал ни слова. Нечего было говорить.

Я стоял над ним — капитаном братьев-стражей, который девять лет звал меня нечистым, — и ждал, пока он поднимется и уйдёт. Он поднялся. Он посмотрел на меня снизу, с пола, и я увидел в маленьких глазах то, что видел у приговорённых. Я не почувствовал ничего, что положено чувствовать от этого. Я почувствовал другое: руки у меня тряслись.

Я посмотрел на них. Они тряслись. Обе. Мелко, как у старика или у пьяного. Пальцы на правой уже синели.

Я не узнал их. Это были чьи-то руки. Я никогда в жизни ничего не делал из злости — у меня не было злости, её выжгли в тринадцать лет вместе с остальным, — а теперь я стоял с

чужими дрожащими руками, с кровью на лице, над человеком, которого только что сломал, не потому что положено. Потому что он ударил её.

Ульрик вышел, шатаясь, и братья закрыли за ним дверь. Засов не задвинули. Я бы услышал.

Вейн пришёл через четверть свечи. Я ещё стоял.

Он вошёл без стука — в первый раз, — остановился на пороге и посмотрел: на неё у стены, на меня, на кровь на моей куртке, на мою правую руку с синими пальцами. Потом в коридор, куда увели Ульрика. Он не спросил, что случилось. Он знал. Он знал ещё в кабинете, когда записывал «кровь из носа».

— Капитан превысил полномочия, — сказал он ровно. — Я разберусь с ним. Ему не следовало входить сюда без моего слова. — Он перевёл взгляд на меня. — Вам, мастер, не следовало ломать ему руку. Но я понимаю. Вы берегли то, что велено беречь. Запишем так.

Он подошёл к ней. Она не подняла головы. Он наклонился — не слишком, ровно настолько, чтобы это было вежливо, — и сказал:

— Приношу извинения, сударыня. Это не повторится. Я прослежу.

Она не ответила. Он выпрямился, поправил рукав и у двери обернулся ко мне.

— Мы поговорим позже, мастер. О том, что вы ушли, не дослушав. — Пауза. — И о руках. У вас дрожат руки. Это не от неё. Это ваше.

Он вышел. Засов лёг в скобу — он задвинул сам.

Я посмотрел на руки. Они всё ещё дрожали. Он видел. Он отметил. Он положил это туда, где у него лежит всё, что ему пригодится.

* * *

Я опустился перед ней на пол. Так, как садился всегда, — только теперь не у двери, а рядом, на расстоянии ладони.

Она смотрела на меня. На кровь — она текла из носа на губу, на подбородок, капала на куртку, я не вытирал. На руки. На маску. Потом снова на кровь.

— У тебя... — сказала она. Голос был не её. Низкий, сорванный. — Это от моего?

— Да.

— Я не знала, что так бывает.

— Я тоже.

Она подняла руку — левую, ту, с кривым мизинцем, — и я подумал, что она хочет вытереть мне лицо. Она не вытерла. Она остановила руку на полдороге, и опустила, и прижала к животу, туда, где ещё держалось глухое, тяжёлое, что я чувствовал тоже.

— Он сказал, что ты моя собака, — проговорила она. — Что ведьма взяла палача на поводок. Что я сделала из Безмолвного... — Она сглотнула. — Я сказала ему, что он прав. Чтобы позлить. Он и так был злой. Тогда он...

— Я знаю. Я был там.

Она посмотрела на меня с таким лицом, какого я не видел у неё ни разу за девять дней. Как будто я сказал что-то такое, чего нельзя было. Я не понял что. Я положил это к остальному.

Она облизнула разбитую губу.

— Тебе было больно? — спросила она.

— Да.

— Хорошо, — сказала она.

Но голос у неё дрогнул. На слове «хорошо», посередине, как дрожит пламя, когда открывают дверь. Я услышал. Я слышу всё — это моя работа, двадцать лет я слушаю, что говорят приговорённые, и знаю, когда голос врёт.

Этот врал.

Я сидел рядом с ней на полу, с кровью на лице и сломанными пальцами, которых не чувствовал, и слушал, как она дышит — неровно, с всхлипом, как на дворе. И где-то под рёбрами,

там, где раньше было ровно, что-то снова шевельнулось. Я не стал его трогать. Я боялся, что, если трону, оно станет больше.

Я не знал, что умею бояться.

Глава 8. Пепельное вино

Велена

— Покажи руку.

— Не надо.

— Северин. — Я уже научилась говорить это имя так, что оно стояло, как кол в заборе.

— Покажи руку, или я сама возьму, и тогда будет больно нам обоим.

Он показал.

Правая, пальцы — указательный и средний — распухли и посинели от костяшек до второго сустава, как две сливы, которые забыли снять. Безымянный просто отёк. Он держал ладонь на весу, чуть в стороне, так, как держат чужую вещь, которую велели подержать.

— Ты так и спал?

— Да.

— И не...

— Нет.

Я взяла его кисть. Горячая. Я нажала на основание указательного — сильно, так, что любой мужик в Ольховке взвыл бы и назвал меня нехорошим словом. Он не шевельнулся. Я нажала ещё. Прорези маски смотрели на меня спокойно.

— Ты вообще что-нибудь?..

— Слабо, — сказал он. — Как сквозь стекло.

Я сидела с его рукой в своих, с синими пальцами, и во мне просыпалось то, что просыпается всегда, стоит мне увидеть неправильно сросшуюся кость или дурно наложенную повязку: злость лекаря. Так нельзя. Так не бывает. Человек с двумя сломанными пальцами не спит ночь и не держит руку так, будто она не его. Кости — это не упрямство. Их не пересидишь.

— Иди на кухню, — сказала я. — Принеси две щепки, ровные, с ладонь. Из лучины. И полоску холста. И что-нибудь холодное — лёд из погреба, если есть, или мокрую тряпку.

Он пошёл. Он не спросил зачем. Он никогда не спрашивал зачем, если я говорила про тело, — только если про остальное.

Когда он вернулся, я усадила его на табурет, себя — на кровать, его руку — себе на колени, поверх плаща. Я вправляла ему пальцы, как вправляла бы любому, — на ощупь, по косточке, прижимая и выравнивая, и слушала, не хрустнет ли не там. Он сидел не шевелясь. Я нарочно смотрела не на маску, а на руку — на эту огромную, в свежих розовых шрамах от хвороста, с мозолями от верёвки ладонь, — и думала, что никогда не держала такую. У всех, кого я лечила, руки были меньше. И все они, когда я давила на перелом, хоть раз да дёрнулись.

— А моё ты чувствуешь, — сказала я, не спрашивая. — Утром, когда я ударилась о кровать коленом. Ты выдохнул за дверью.

— Да.

— Значит, моё — громко, а своё — сквозь стекло.

— Да.

Я наложила щепки, замотала, завязала. Положила сверху мокрую тряпку. Он смотрел на повязку, как смотрят на чужую работу, — одобрительно, кажется. Потом сказал:

— Ты хорошо вяжешь.

— Я всё хорошо вяжу. Ты заметил.

Он не ответил. Я и не ждала. Но что-то в том, как он повернул голову, сказало мне, что он заметил.

* * *

— Как это делается? — спросила я. — Стекло.

Он молчал долго. Я уже привыкла к его молчанию: оно было не пустое, в нём что-то двигалось, медленно, как рыба подо льдом.

— Причастие, — сказал он наконец. — В тринадцать лет. Всем, кто из Слободы, кто будет Безмолвным.

— Расскажи.

— Зачем?

— Затем, что я лекарь, а ты — человек, который не чувствует собственных костей. Это не благословение, Северин. Это болезнь. Я хочу знать, откуда она.

Он сидел на табурете, с перевязанной рукой на колене, и смотрел мимо меня, в щель окна под плащом. Я не торопила. Я умею ждать, когда нужно, — у трав научишься.

— Часовня под Цитаделью, — сказал он. — Там, где хранят чаши. Нас было четверо. Я, двое из Слободы, один из Кожевненного угла, у него отец умер, и его взяли. Нам сказали: это благословение Пепла. Прах очищения. Оно закаляет. Будете как железо, и никакая ведьма не возьмёт.

— Кто сказал?

— Дознаватель. Молодой тогда. Я не помню лица. Я мало помню до того дня.

— А потом?

— Дали чашу. Серебряную. В ней вино, тёмное, и в нём — пепел. Он не тонул, он плавал сверху, серый. Сказали: пейте до дна. Я выпил.

— Какое на вкус?

Он подумал.

— Горькое. Не как полынь. Хуже. Так, что язык онемел. Я три дня не чувствовал языка. Ел — и не знал что. Потом прошло. Потом... — Он искал слово. — Потом стало тихо. Я упал на следующей неделе с крыши, отец чинил, я помогал. Встал и пошёл. Отец сказал: вот, видишь. Благословение.

— А сны?

— Что?

— Сны. Ты говорил — тебе не снится. С тех пор?

Он повернул ко мне голову.

— Да.

— А руки? Холодные? Не сейчас, я вижу, что горячие, — вообще. Зимой.

— Я не замечал.

— Ты не замечал, — повторила я, — потому что не чувствуешь. А если ты что-нибудь ешь очень солёное или очень кислое — ты это чувствуешь?

— Нет. Еда — это еда.

Я закрыла глаза.

У бабки был горшок. Маленький, глиняный, с крышкой, залитой воском, и стоял он не на полке с остальными, а в погребе, в нише, за камнем. Она показала мне его один раз, когда мне было четырнадцать, и сказала: «Вот это ты не тронешь никогда. Ни для кого. Это не лечит. Это отбирает». В горшке были сухие корешки, тёмные, почти чёрные, с запахом подвала и гнилого яблока. Горечавка мёртвая. Растёт на болоте, где ничего не растёт, цветёт ночью, серым. Одна щепоть в вине — и человек неделю не чувствует, что режет себе руку. Три щепоти — и не почувствует до смерти. Язык немеет на три дня — это первый знак. Потом уходят сны. Потом вкус, потом холод и жар, потом боль, а с ней — всё остальное, что живёт там же, где боль: страх, злость, жалость. «Это ведьмина трава, Веленка, самая чёрная из наших. Ею травят. Ею убивают не тело, а то, что в теле. Запомни её, чтобы узнать, если встретишь».

Я встретила. Она сидела передо мной на табурете, с перевязанной рукой, в маске, и не чувствовала своих пальцев двадцать лет.

— Горечавка, — сказала я. — Мёртвая горечавка. В вине. Пепел — для виду. Чтобы пахло благословением.

— Что?

— Твоё Причастие. Это не прах очищения, палач. Это ведьмино зелье. Самое чёрное, какое есть. Моя бабка держала его в погребе за камнем и запрещала трогать. Его дают, чтобы человек перестал чувствовать — сначала тело, потом остальное. — Я открыла глаза. — Орден поит своих палачей ведьминым ядом. Тем самым, за который сжигает ведьм. Чтобы вы жгли ровно и не дёргались.

Он встал.

Он сделал это так резко, что табурет отъехал по полу и стукнулся о стену, — а он не делал ничего резко, никогда, он двигался, как вода под мостом. Он стоял надо мной, огромный, и перевязанная рука у него была сжата в кулак, насколько позволяли щепки.

— Нет.

— Да.

— Это Причастие Пепла. Это благословение Ордена. Мой отец прошёл его. Его отец. Это то, что делает нас...

— Железом? — Я не встала. Я смотрела снизу. — Стеклом, Северин. Ты сам сказал. Благословение не отнимает сны.

— Ты ведьма. Ты врёшь. Тебе это выгодно.

— Мне? — Я засмеялась, коротко. — Мне выгодно, чтобы ты оставался стеклом. Стекло не ломает руки капитанам. Стекло сжигает и идёт домой. Я говорю тебе это не потому, что мне выгодно, а потому, что я лекарь, и у меня на коленях только что была рука, которая не знает, что сломана, и мне от этого тошно.

Он молчал. Он дышал — я слышала, громко, носом, как дышит бык, когда его дразнят, и я подумала, что никогда не слышала, чтобы он дышал громко.

— Ты сердишься, — сказала я.

Он замер.

— Ты сердишься, палач. На меня. Посмотри на свою руку.

Он посмотрел. Кулак. Он разжал его — медленно, по пальцу, как разжимают чужое. Посмотрел на ладонь так, словно увидел там что-то написанное.

— Я никогда не сердился, — сказал он. Тихо. Не мне — себе.

— Поздравляю. Теперь умеешь.

Он стоял и смотрел на руку, и я видела, как в нём это двигается — не рыба подо льдом, а что-то, что ломает лёд снизу, — и мне вдруг стало его жаль. Остро, нелепо, как жаль становится пса, который впервые в жизни ударился о стекло, за которым всегда видел двор.

Я не хотела этого. Жалость — худшая из трав: горькая, липкая, прорастает где не сеяли.

* * *

Он отошёл к кувшину и стал пить — долго, жадно, здоровой рукой, проливая на ворот. Ворот был расстёгнут. Он расстегнул его, когда я вправляла пальцы, — ему было жарко, или я так думала, — и забыл застегнуть.

И я увидела.

На шее, слева, от ключицы вверх, за ухо, — узор. Тёмный, выпуклый, тонкий, как вышивка нитью по коже изнутри. Побег. Шипы. Я знала этот рисунок. Я видела его на материнских руках, когда она лечила, и на своих — в камере, в ту ночь. Только у нас он проступал и гас. У него — остался. Врос.

Терн. Мой терн. На нём.

Я встала. Лодыжка отозвалась, я не обратила внимания. Я подошла — четыре шага, я уже не считала, я просто подошла — и подняла руку.

Я не думала. Так я трогаю всё, что растёт: чтобы знать, живое ли, какое на ощупь, тёплое или нет. Так трогают кору. Мои пальцы легли ему на шею, туда, где побег выходил из-под ключицы, и пошли по нему вверх — по выпуклым линиям, по шипам, тёплым, теплее остальной кожи, — к уху.

Он вздрогнул.

Весь. Всем телом, как вздрагивает дерево, когда в него ударит ветер, — от плеч до перевязанной руки. Кувшин стукнул о стол. Он не отстранился — он стоял и дрожал под моими пальцами, и я чувствовала, как под узором бьётся жила, быстро, слишком быстро для человека, который двадцать лет не чувствовал.

— Не надо, — сказал он.

Голос был не его. Низкий, сорванный — такой, как тогда на крыше, когда он ругался.

— Я чувствую.

Я остановила руку.

Это была не боль. Я знала боль — я видела её у него на лице под маской, когда давила на лодыжку. Это было другое. Я убрала пальцы, и там, где они были, осталось тепло, — на моей руке, не на его шее, — и это тепло было совсем не к месту, как тогда, с лодыжкой, только хуже.

Мы стояли. Между нами не было четырёх шагов. Между нами не было ничего.

Я смотрела на его рот под маской — на складку, которая была жёсткой в камере, а теперь не была, — и он смотрел на меня сквозь прорези, и мы оба понимали, что это было. Я — потому что я женщина и мне двадцать шесть, и я не глупа. Он — не знаю почему. Он, наверное, вообще не знал слова. Но он понял. Я видела, как он понял: так понимают, что провалились под лёд, — раньше, чем холод.

Я отступила первая. Я сказала себе: лодыжка. Я сказала себе: лекарь не стоит так близко. Я сказала себе всё, что надо, и ничему не поверила.

— Застегни ворот, — сказала я. — Дует.

Он застегнул. Не глядя, одной рукой, долго, потому что пальцы не слушались.

* * *

Агата пришла, когда стемнело, и мы ещё не сказали друг другу ни слова с тех пор. Она посмотрела на нас — на него у двери, на меня на кровати, на расстояние между нами, которое мы оба держали, как держат горячее, — и подняла бровь. Ничего не спросила. Она умела не спрашивать.

— Распоряжение, — сказала она сухо, доставая из рукава лист с чашей. — От Верховного Дознателя. Читать или своими словами?

— Своими.

— Пленница переводится под надзор палача в его дом в Слободе. Для укрепления уз. — Она произнесла это так, что было слышно, как слово «укрепления» ей не нравится. — Охрана снаружи, круглые сутки, двое братьев, сменные. Выход — только с мастером и только по надобности. Завтра утром.

Я посмотрела на Северина. Он стоял у дощатой двери, с перевязанной рукой, с застёгнутым воротом, и молчал. Но я уже умела читать его молчание — и это было не то, ровное. Это было молчание человека, которого позвали домой, а он не уверен, что хочет, чтобы туда входили.

— В его дом, — повторила я.

— В его дом, сударыня. — Агата свернула лист. — Вейн считает, что башня — не лучшее место. После вчерашнего. Он очень заботится о вашей сохранности.

— Он заботится о своих узах.

— Разумеется. — Она посмотрела на меня светлыми глазами, и в них было что-то, что она не сказала при нём. — Отдохните. Слобода — не Цитадель. Там хотя бы не пахнет ладаном.

Она ушла. Засов лёг в скобу.

Мы остались. Я — на кровати, под его плащом. Он — у двери, со своим терном под воротом и моим теплом на нём.

— Какой у тебя дом? — спросила я.

Он подумал.

— Маленький, — сказал он.

И больше ничего. Но я вдруг поняла, что впервые за десять дней думаю о завтрашнем дне не как о дне, который надо пережить, а как о дне, в котором я что-то увижу. И это испугало меня сильнее, чем игла.

Глава 9. Двести четырнадцать имён

Северин

Она остановилась у калитки и не вошла.

Я ждал. Двое братьев за нашими спинами тоже ждали — им было велено стоять снаружи, и они стояли, глядя куда угодно, только не на дом палача. Слобода вокруг молчала. Так всегда: когда я иду, за ставнями тихо. Сегодня тише. Сегодня я шёл не один.

— Это что? — спросила она.

— Сад.

— Я вижу, что сад. — Она держалась за калитку здоровой рукой. Лодыжка ещё была перевязана, она прошла от северных ворот всю Слободу, хромая и отказываясь, чтобы я нёс. — Это чабрец. Это шалфей, две грядки. Это... пепел меня побери, это девясил. Кто это растит?

— Я.

Она посмотрела на меня так, словно я сказал, что умею летать.

— Зачем?

— В Слободу не ходят лекари. — Я открыл калитку. — Нечистым не положено. Если кто заболел — идут ко мне.

— К палачу.

— К тому, у кого есть травы.

Она вошла. Медленно, глядя под ноги, — не потому что лодыжка. Она шла между грядками, как ходят по чужому дому, где всё вдруг оказалось знакомым: трогала листья, растирала между пальцами, нюхала. У ромашки присела. У горюн-травы, которую я посадил у самого крыльца, остановилась и долго стояла.

— Это не растёт в городе, — сказала она. — Её надо с болота брать, с корнем, и она не приживается.

— Прижилась. На третий год.

— На третий год. — Она выпрямилась. Лицо у неё было такое, какого я не видел: как будто ей что-то вернули, что она потеряла давно и не ждала. Потом она это лицо убрала. — Ладно. Покажи свой маленький дом, палач.

Дом маленький. Одна комната, печь, стол, лавка, полка с книгами — четыре, от Агаты, — полка с плошками. Чисто. Я убираю, потому что иначе травы пылятся. В углу — тюфяк, на котором я не сплю. У печи — место, где сплю: стена, пол.

Она обошла комнату один раз, как обходят клетку, и села на лавку.

— Здесь пахнет мятой, — сказала она. — У тебя дома пахнет мятой, Северин. Ты понимаешь, что это неправильно?

— Нет.

— И я нет, — сказала она. — В этом и беда.

* * *

Дора пришла до вечера. Она всегда приходит до вечера, когда колено. Ей семьдесят, она живёт через забор, она — единственная в Слободе, кто входит в мой дом без стука, потому что знала меня до Причастия и считает, что это даёт ей право.

Она вошла, увидела ведьму на лавке и остановилась.

— Так, — сказала она.

— Дора. Это...

— Я знаю, кто это. Вся Слобода знает. — Она прошла к столу, села, выставила колено. — Тридцать три года тебе, Северин Бранов. Тридцать три. И первый раз привёл в дом женщину — и ту с костра.

— Её привели.

— Вижу я, как её привели. — Она посмотрела на ведьму. Ведьма посмотрела на неё. Они смотрели друг на друга, как две собаки через забор, и я не знал, что положено делать. — Хромаешь, девка?

— Лодыжка.

— Он бинтовал?

— Он.

— Тогда до свадьбы заживёт. Он хорошо бинтует. — Дора повернулась ко мне. — Мазь, Северин. Зелёная. И не стой, как столб, у тебя рука сломана, я вижу. Дай-ка девке, пусть она.

Ведьма мазала Доре колено. Я смотрел. Руки у неё были быстрые и точные, она нашла больное место сразу, нажала, Дора охнула и сказала «вот-вот», и они обе заговорили о коленях так, будто меня в комнате не было. Я вышел на крыльцо.

Там ждали дети. Трое. Мальчик с рассечённой ладонью — упал на черепок — и двое помладше, которые пришли посмотреть на ведьму. Я промыл ладонь, наложил подорожник, замотал. Мальчик смотрел мимо меня, в дверь.

— Она правда?..

— Да.

— А она тебя не?..

— Нет.

— А если...

— Иди домой, Тишка.

Он ушёл. Двое младших — за ним. Когда я обернулся, ведьма стояла в дверях и смотрела на меня.

— Подорожник, — сказала она.

— Да.

— Прижал листом вниз, не вверх. Правильно.

Она ушла обратно в дом. Я стоял на крыльце и думал, что мне сказали «правильно», и что это отозвалось у меня где-то под рёбрами, слева. Я не знал, что от слова может отозваться. Я положил это к остальному.

* * *

Я готовил ужин.

Похлёбка, перловка, лук, копчёная рыба — я умею это, и больше почти ничего, но это умею хорошо. Она сидела у стола и перебирала пучки, которые я снял с балки, — шалфей, чабрец, зверобой, — и раскладывала по стеблю, по листу, по тому, что уже пересохло и годится только в печь. Я не просил. Она сама.

— Ты сушишь неправильно, — сказала она. — Зверобой надо головками вниз, а не вверх, иначе цвет осыпается.

— Отец сушил вверх.

— Отец был палач, а не травник. — Она отщипнула цветок, растёрла, понюхала. — Хотя нет. Хорошо. Не осыпался. Повезло.

— Я не верю в везение.

— А во что веришь?

— В счёт.

Она засмеялась. Не тем смехом, злым, коротким. Другим — я слышал его один раз, на крыше, когда упал на пороге и ругался. Он был громкий и шёл откуда-то снизу, из живота, и она прикрыла рот рукой, как будто он вырвался без спроса.

Я помешивал похлёбку и смотрел на неё через стол, и что-то делалось с моим лицом.

Я не сразу понял что. Рот. Он был не так, как всегда, — углы поднялись, сами, и держались. Я тронул их ложкой, по глупости, и ложка была горячая, и я отдёргнул руку. Она это видела.

— Ты улыбаешься, — сказала она.

— Я не знаю, как это выглядит.

— Странно. — Она смотрела на меня внимательно, по-своему, как на траву. — Как будто ты это делаешь первый раз.

— Да.

— Правда?

— Я не помню другого.

Она замолчала. Потом вернулась к зверобою. Но раскладывала медленнее, и один раз, когда думала, что я смотрю в котёл, посмотрела на меня. Я видел. Я вижу всё.

Мы ели. Я — своё, она — своё, быстро, двумя руками. Печь грела. За стеной — Дора стучала чем-то, за калиткой переступали братья. Это было похоже на — я искал слово долго и нашёл только одно — на дом. Я не знал, что дом бывает такой: с кем-то. Я думал, дом — это где спишь.

И это было тревожно. Тёплое и тревожное сразу, как держать в руке птицу.

* * *

Ночью я вышел проверить братьев у калитки. Так положено. Когда вернулся, она стояла у полки с тетрадью в руках.

Тетрадь открыта. С конца. Там, где последние страницы.

Я остановился в дверях.

Она не вздрогнула, не спрятала. Она подняла голову и посмотрела на меня, и лицо у неё было белое, как у Агаты глаза.

— Двести четырнадцать, — сказала она.

— Да.

— С именами. С днями. «Марта из Кожевенного угла, осень, за порчу скота». «Ивон, кузнец, зима, за чернокнижие». — Голос у неё не дрожал. Он был ровный, и это было хуже. — Это что? Отчёт? Для Вейна?

— Нет. Это моё.

— Твоё что?

Я подумал. Я никогда не говорил об этом ни с кем. Агата видела, Матиас видел. Они не спрашивали.

— Чтобы они были, — сказал я.

Она смотрела.

— Их больше нет, — сказал я. — Пепел собирают в чаши. Имена забывают через год. Я — не забываю. Я записываю вечером, чернилами. Это...

— Это молитва, — сказала она.

Я не знал, молитва ли. Безмолвным нельзя в храм через главные двери. Я никогда не молился. Но она сказала это так, словно знала лучше, и, может, так и было.

Она перевернула страницу. Последнюю. Там было пустое место, и в нём — число. Двести пятнадцать. И пустая строка. Я вписал число в тот вечер, когда получил лист, — я всегда вписываю число заранее. Так положено.

Она положила палец на эту строку.

— Это я.

— Да.

— Ты собирался вписать меня вечером. Чернилами. Не торопясь.

— Да.

Она закрыла тетрадь. Не хлопнула — закрыла, как закрывают дверь в комнату, где спит больной. Поставила на полку, туда, где стояла. Повернулась ко мне.

— Ты не оправдываешься.

— Нет.

— Не говоришь: «мне приказали».

— Приказали. — Я стоял в дверях и не входил. — Но вязал я. Я помню каждый узел.

Она долго молчала. Потом сказала, очень тихо:

— Хорошо. Что помнишь. Это хорошо, Северин. Это единственное, что в тебе хорошо, и это... — Она не договорила. Села на лавку, спиной к стене, подтянула больную ногу. — Иди спать. У своей печи. Я не буду больше трогать твои вещи.

Я сел у печи. Она — на лавке, через стол от меня. Между нами была тетрадь на полке, и я думал о первой странице, которую она не открыла. Там одно имя. Я помню его без тетради. Я никогда не открываю первую страницу.

Я заснул сидя. Снов не было, как всегда.

* * *

Агата пришла, когда свеча за окном у братьев догорела и они задремали, — я слышал по дыханию. Она пришла не с улицы. С задов, через сад, между грядок, хромая, и постучала в окно, в ставень, два раза коротко. Так стучала, когда приносила книги. Я открыл.

Она влезла — старая женщина, в чепце, через окно палача, — и села на лавку рядом с ведьмой, не спрашивая, и первое, что сделала, — отдышалась.

— Я нашла, — сказала она.

Ведьма села прямо.

— Архив. Нижний, куда пускают только дознавателей, но у писарей есть ключи, а писари пьют. — Она говорила быстро, сухо, как перечисляют. — Вейн за последний год запрашивал оттуда три вещи. Первое: всё о Терновом роде, всё, до последнего листа. Второе: записи о том, что они называют «пересадкой». Я не знаю, что это. Слово старое. Там один лист, и он выписан, его нет на месте, — Вейн забрал. Третье. — Она посмотрела на меня. — Ночь Пепла.

— Что это? — спросила ведьма.

— Луна, — сказала Агата. — Красная луна. Она бывает раз в несколько лет, когда луна проходит через тень, и становится цвета... цвета угля, который ещё не остыл. В Ордене это священная ночь. Бдение, чаши, все дознаватели в Цитадели. — Она помолчала. — Следующая — через девятнадцать дней. Я посчитала по их же таблицам. Девятнадцать. Это...

— Тридцатый день, — сказала ведьма.

— Да.

Ведьма сидела очень прямо. Я смотрел на неё, и я чувствовал — не её боль, у неё ничего не болело, — но что-то: как будто внутри у неё всё остановилось и стоит.

— Что он хочет сделать? — спросила она.

— Не знаю. — Агата сжала ремень сумки. — Я не знаю, что такое пересадка. Но я знаю другое. В той же папке, где лежал запрос, была записка. Его рукой. Для себя, не для писарей. Я запомнила слово в слово. — Она посмотрела на меня. — «После Ночи Пепла палач будет не нужен».

Тихо.

Я слышал, как за калиткой дышат братья. Как потрескивает печь. Как дышит ведьма — часто, неглубоко, так, как дышат перед прыжком.

— Не нужен, — повторил я.

— Да, мастер. Простите.

Я ничего не почувствовал. То есть — я ждал, что почувствую: страх, я уже знал его, или злость, её тоже. Не пришло. Пришло другое: я посмотрел на ведьму и подумал — не о себе. О том, что после Ночи Пепла будет с ней. Если палач не нужен, значит, нужна она. Живая. Для чего-то, для чего до сих пор нужен был я.

Я не знал, что это за чувство. Оно не было моим. Оно было больше.

Агата ушла, как пришла, — через окно, через сад. Я закрыл ставень. Повернулся.

Она сидела на лавке и смотрела на меня, и лицо у неё было такое, какое я видел двести четырнадцать раз. Не у неё — у них. Так смотрят в последнюю ночь, когда решили что-то и уже не передумают.

— Значит, на тридцатый день ты умрёшь, — сказала она.

— Так выходит.

— Из-за меня.

— Из-за Вейна.

— Из-за меня, — повторила она. — Я тебя связала. Я. — Она сглотнула. — Я не дам.

— Как?

— Не знаю.

Я слышу, когда голос врёт. Двадцать лет я слушаю приговорённых. Этот — врал. Ровно, уверенно, глядя мне в прорези, так, как врут те, кто уже всё решил.

Она знала как.

Я сел у печи, спиной к стене, и не стал её спрашивать. Я считал её вдохи до утра. Она не спала. Она лежала на лавке лицом к стене и дышала ровно, слишком ровно, как дышат, когда притворяются, — и где-то под рёбрами у меня, слева, стояло тяжёлое и холодное, и я не знал, её это или моё.

Я думаю теперь — моё.

Глава 10. Побег

Велена

Мак я попросила у Агаты сама. Для лодыжки, сказала я. Ночью ноет, не даёт спать.

Она посмотрела на меня светлыми глазами, как смотрят на ученицу, которая соврала в ответе, но соврала грамотно, — и достала из сумки маленький пузырёк, тёмный, с притёртой пробкой.

— Десять капель, — сказала она. — Не больше. Двадцать — и вы проспите сутки. Тридцать — и я приду вас отпевать, а я этого не умею.

— Я лекарь, сестра.

— Знаю. Поэтому и даю.

Это было на тринадцатый день. В тот же день она принесла мне платье — тёмно-зелёное, шерстяное, тёплое, чуть длинное, — и плащ с капюшоном, серый, из тех, какие носят сёстры Милости, и сложенный вчетверо лист с чашей в углу.

— Пропуск, — сказала она тихо, пока Северин был в саду. — Для сестры и сопровождающего. Северная застава, ночная смена, они не читают, они смотрят на печать. Дальше — дорога на запад, или вдоль реки до брода, если застава не понравится. — Она помолчала. — Я не знаю, что вы задумали, сударыня. Я не хочу знать. Но вдвоём вы пройдёте, а по одному — нет.

— Вдвоём, — повторила я.

— Мастер знает?

— Узнает.

Она ещё посмотрела на меня. Потом сказала: «Хорошо», — и больше ничего, и я поняла, что она мне не поверила и что помогает всё равно, и что это я унесу с собой тоже, вместе с маком и чужим плащом.

* * *

Дома он не носил маску.

Это началось на третий вечер, когда Дора, сидя с коленом, сказала ему: «В своём доме в наморднике ходят только псы, Северин Бранов, а ты не пёс, ты мне ещё с крыши падал», — и он снял её и повесил на гвоздь у двери. С тех пор так и было: в Цитадель — в маске, дома — нет. Я видела его лицо каждый вечер. Я привыкла к нему, как привыкают к печи: вот она стоит, греет, и не думаешь, что когда-то её не было.

Это была ошибка. Привыкать. Я знала, что ошибка, и ничего не могла с ней сделать, как не можешь ничего сделать с тем, что растёт.

На тринадцатый день, под вечер, Дора привела девочку. Тишкину сестру, лет пяти, горячую, как печной камень, с глазами, которые смотрели сквозь нас. Мать стояла на крыльце и не входила — в дом палача не входят, даже если он один на всю Слободу, кто может. Дора вошла. Дора положила девочку на лавку и сказала: «Ну?» — обоим сразу, как говорят двум работникам.

Мы работали вместе. Я не думала об этом — руки сами. Он грел воду, я растирала липовый цвет; он держал девочку, пока я поила её с ложки, — держал одной рукой, огромной, осторожно, как держал бы яйцо; я обтирала ей лоб, он подавал тряпку. Один раз наши руки встретились над ней — его левая, моя правая, — и ни он, ни я не отдёрнули, потому что ребёнок был важнее. Девочка уснула. Жар стал спадать к ночи. Мать забрала её с крыльца, не глядя на него, и сказала «спасибо» мне. Только мне.

— Она вас боится, — сказала я, когда они ушли.

— Все боятся.

— Ты их лечишь, а они кладут сдачу на стол.

— Да.

— И тебе всё равно?

Он подумал.

— Раньше было всё равно, — сказал он.

Я поняла, что это значит, и не стала спрашивать дальше. Это было то же, что с печью: вот она стоит и греет, и уже не думаешь, что её не было. Я легла на лавку, где ещё было тепло от ребёнка, и думала, что завтра. Завтра, потому что послезавтра я не смогу.

На четырнадцатый день, вечером, я заварила ему отвар.

Я делала это третий день — хмель, пустырник, дягиль, — он отдал мне это, как отдают работу тому, кто делает её лучше. Он пил и говорил: «Правильно». Сегодня я взяла всё то же. И мак. Двадцать капель — я отсчитала их по одной, глядя, как они падают в тёмную воду и расходятся. Двадцать. Не тридцать. Я лекарь. Я знаю, где грань, и я не для того его лечила.

Он пришёл с крыльца, сел за стол и взял кружку. Он держал её в левой — правая была ещё в щепках. Я смотрела на эти щепки и думала, что завязывала их сама, и что они останутся при нём, когда меня не будет, — как тетрадь, как мята, как горюн-трава у порога.

— Ты сегодня тихая, — сказал он.

— Думаю.

— О чём?

— О травах.

Он кивнул, как кивают, когда ответ сходится, и выпил. До дна, как положено. Поставил кружку. Я смотрела, как он смотрит на меня, — без маски, тёмными глазами, со шрамом через бровь, — и ждала, когда это кончится.

— Велена, — сказал он.

Он почти не звал меня по имени. Я не знала, что оно звучит так в его голосе: тяжёлое, будто он поднял его двумя руками.

— Что?

Он молчал. Потом сказал:

— Ничего. Я думал, что скажу. Не сказал.

Он сел у печи, как всегда, спиной к стене. Я сидела на лавке и считала. Я уже умела считать, как он. На сотом вдохе голова у него упала на грудь. На двухсотом он завалился набок, на пол, — медленно, как заваливается дерево, которое подпилили, — и лёг. Первый раз я видела его лежащим. Он лежал на боку, подтянув колени, и правая рука в щепках была под щекой, и он выглядел... моложе. Он всегда выглядел моложе без маски, но сейчас — совсем. Как Тишка. Как мальчик, которому дали чашу и сказали: пей.

Я встала.

* * *

Я переоделась в зелёное и серое, в его печной угол, спиной к нему, хотя он спал и не видел. Плащ палача, который укрывал меня две недели, я сложила и положила на лавку. Он был тяжёлый, он был его, он пах дымом и травой, и я не имела права брать его с собой. Я взяла хлеб, флягу, пузырёк с остатком мака, пропуск. Нож я не взяла. У него был только тот, за голенищем, а снимать с него сапог я не стала бы.

У двери я остановилась.

Он лежал у печи, и свет от углей ложился ему на лицо, и шрам через бровь казался белее. Я подумала, что надо хотя бы положить ему под голову что-нибудь — так лежать всю ночь, на досках, он проснётся с одеревеневшей шеей. Я не положила. Я боялась, что, если наклонюсь, не разогнусь.

Я подумала: он умрёт на тридцатый день, если я останусь.

Я повторила это себе ещё раз, по слогам, как повторяют названия трав, чтобы не перепутать ядовитую с целебной. Он умрёт. Вейн соберёт их всех в Цитадели под красной луной,

и сделает со мной то, для чего держит, — пересадка, слово, которое я не понимала и которое звучало как «отрезать», — и палач будет не нужен. Если я останусь. А если уйду — Вейну не с чем работать. Узы — при нём, но я далеко, и жива, и буду жива, я умею. Пока я дышу, он дышит. Это единственное, что я могу ему дать. Это — и мак, чтобы он не проснулся раньше, чем я уйду достаточно далеко.

Так я себе сказала. Я умею.

И под этим — ниже, там, где корни, — было другое, чего я не говорила. Что я уйду не только от Вейна. Что четыре шага между нами кончились, и мне нечем было их вернуть, и что, если я останусь ещё на день, я сделаю что-нибудь, о чём пожалею, — например, положу ему под голову свёрнутый плащ, и это будет хуже, чем мак.

Я вышла. Дверь я закрыла тихо. Так закрывают, где спит больной.

* * *

Братья у калитки дремали — я видела, как один из них сполз по столбу и спал с открытым ртом. Я пошла с задов, через сад, как ходила Агата. Между грядками. Мимо шалфея, мимо девясила. У горюн-травы я не остановилась. Я сказала себе, что не остановлюсь, и не остановилась.

Забор у Северина был низкий. Я перелезла, не задев, — лодыжка держала, я бинтовала её сама и знала, что держит. Дальше была Слобода: кривые проулки, слепые ставни, собаки. Собаки меня не тронули. Собаки чуют, кого можно, а я пахла его домом.

Я шла вниз, к реке. Я знала дорогу: Агата нарисовала мне её пальцем на столе, когда он выходил, — вниз от Слободы, мимо кожевен, где вонь такая, что и стража не стоит, к реке, по берегу до моста. Мост — застава. Если застава не понравится — дальше, к броду у мельниц.

Город ночью был другой. Днём он смотрел — всеми окнами, всеми спинами, которые отворачивались от палача и его ведьмы. Ночью он спал, и в его сне я была никто: серый плащ, капюшон, сестра, идущая по делам Милости. Два раза мимо прошла стража — факел, шаги, голоса, — и два раза я прижималась к стене, и они не смотрели. Они искали ведьму. Ведьма не ходит в сером.

Река пахла илом и холодом. Мгла. Она была широкая здесь, чёрная, с белыми прядями тумана, и на том берегу не было ничего, кроме темноты, и в той темноте, в трёх днях пути, лежала Ольховка. Или не лежала. Я не знала, что там осталось после моря и после меня.

У воды росла ольха. Чёрная, кривая, по колено в тумане, как в той песне. «Стоит ольха у воды, не боится ни ветра, ни ночи». Я остановилась под ней — на один вдох, не больше, — и попробовала. Я пробовала каждую ночь, по привычке, как трогают языком место, где был зуб. Слова были. Ступка была, печь, спина матери, её покачивание в такт. Голос — нет. Камень.

Я отдала его за то, чтобы человек у печи чувствовал мою боль. А теперь уходила от него, чтобы он не чувствовал её больше.

Хорошая сделка, Веленка. Бабка бы оценила.

Я пошла дальше.

Мост я увидела издали: два факела, будка, и в будке — не двое, а пятеро. Ночная смена, которая смотрит на печать. Пятеро не смотрят на печать. Пятеро — это когда кого-то ищут.

Меня.

Он проснулся? Нет. Двадцать капель — он не проснётся до утра. Это Вейн. Вейн не ждёт, пока сбегут, — он ставит пятерых заранее, на всякий случай, потому что он «не любит делать того, чего не понимает».

Я повернула к мельницам.

* * *

Брод был ниже по течению, за мельницами, где река раскатывалась широко и мелко, по камням. Я помнила — Агата сказала: до колена, если не было дождей. Дождей не было десять дней. Я шла вдоль берега, в тени, и мельницы стояли чёрные, с неподвижными крыльями, и

за последней из них был забор — высокий, из жердей, перегораживающий тропу от воды до откоса.

Я полезла.

Жерди были старые, скользкие от тумана. Я подтянулась, перекинула ногу — больную, аккуратно, — перехватила рукой выше, за верхнюю жердь.

Жердь была прибита гвоздём. Гвоздь был старый, вылезший, ржавый, с загнутым концом, и я узнала об этом, когда он вошёл мне в ладонь.

Я не закричала. Я зашипела, как кошка, и сорвалась, и упала по ту сторону забора на четвереньки, в мокрую траву, и там, в траве, подняла руку к лицу.

Левая. Через ладонь, от основания большого пальца к мизинцу, — длинно, глубоко, не рваная, а именно резаная, как ножом, и из неё текло. Чёрным в темноте. Тёплым. Много. Я сжала кулак, и стало ещё больше, и я зажала ладонь другой рукой, и между пальцами всё равно шло.

Больно было так, что я на миг ослепла.

И в этот миг я поняла.

Не головой. Головой я знала всё заранее: двадцать капель, он не проснётся. Головой я всё рассчитала, как рассчитывают отвар. Я поняла телом, руками, кровью, которая текла между пальцами: двадцать капель мака — это сон. А это — не сон. Это боль, какую не спят. Какая прошла бы через стекло, через стену, через шестьдесят шагов и три стены — Вейн проверял. Через мак — тоже.

Он чувствует.

Там, у печи, на полу, с рукой под щекой, — он только что дёрнулся, как от ножа, и его левая ладонь горит, и он открыл глаза. Или не открыл — ещё. Но откроет. Мак не держит против такого. Я лекарь. Я знала бы это, если бы думала не о том, как уйти, а о том, от кого.

Я сидела на коленях в мокрой траве, за мельницами, у брода через Мглу, и смотрела на свою кровь.

Теперь он знал, где я. Не головой. Телом. Как знает рука, где горит.

Он сказал мне это ещё в башне, Агата сказала, Вейн записал: «он чувствует направление». Крючок под рёбрами. Чем дальше — тем слабее, но не исчезает. А я только что дёрнула за леску так, что и мёртвый бы сел.

Я встала. Левую руку я замотала краем плаща, туго, как умела, одной рукой и зубами. Правой нащупала в траве флягу.

До Ольховки было три дня. До рассвета — четыре колокола. А до того, как он встанет, потрянёт головой и пойдёт по моей боли, как по нитке, — я не знала сколько. Я знала только, что он пойдёт.

И самое страшное было не это.

Самое страшное было то, что где-то внутри, там, где корни, я этого хотела.

Глава 11. Погоня по боли

Северин

Ладонь.

Я проснулся не весь. Это было впервые: обычно я просыпаюсь сразу, как открывают дверь, а тут меня вытаскивало по частям, как ведро из колодца, — тяжёлое, с водой, которая льётся через край. Голова не поднималась. Пол был твёрдый, щека лежала на щепках, на собственной руке. Я лежал. Я никогда не лежу.

Но ладонь — левая — горела. Длинно, от большого пальца к мизинцу, так, как горит, когда разрежут. Я поднял её к глазам. Целая. Я уже знал, что увижу целую, и всё равно посмотрел — так положено.

Не моя.

Я сел. Стены качнулись и встали. Печь остыла — угли серые. Значит, прошло много. Лавка пустая. На лавке — мой плащ, сложенный. Маска на гвозде. Кружка на столе, пустая, и на дне — осадок, тёмный, гуще, чем от хмеля.

Мак.

Я понял всё разом и не почувствовал ничего, что положено, — только ладонь, и ещё одно, под рёбрами, слева: тяга. Как будто туда вделали крючок с леской и леска натянута, и кто-то на том конце дёрнул. Я знал это ощущение, оно было со мной все две недели, тихое, как нитка на ветру. Сейчас нитка стала верёвкой.

Туда. Вниз и на запад. К реке.

Я встал. Ноги держали плохо, мак сидел в коленях. Я нашёл сапоги, нож за голенищем — на месте, она не взяла, — надел плащ. Маску не надел. Я посмотрел на неё на гвозде и не взял, и не стал думать почему.

Вышел через дверь. Братя у калитки проснулись: один вскочил, другой открыл рот.

— Мастер? Куда...

— По надобности.

Они не остановили. Им было велено сторожить ведьму, а я — не ведьма. Я прошёл мимо и услышал, как за спиной один сказал другому: «Глянь-ка, без намордника». Я не обернулся.

* * *

У Дориной калитки горел свет. Она стояла в проёме, в платке поверх рубахи, с лучиной, — старуха, которая не спит, потому что колено, и всё видит, потому что не спит.

— Ушла? — спросила она.

— Да.

— Через мой огород. Я слышала. — Она подняла лучину и посмотрела на моё лицо. На то, что без маски. — Иди. Только вот что, Северин Бранов: без неё не возвращайся. Понял? Без неё тут тебе делать нечего. Я тридцать лет смотрела, как ты ходишь мимо, будто неживой. Хватит.

Я не ответил. Я не знал, что положено отвечать на такое. Она махнула лучиной — иди, — и я пошёл.

Слобода, сорок дворов, я знаю их все. Я шёл по ней, как ходил двадцать лет, — и не так. Я шёл не по улице. По нитке. Она тянула вниз, к кожевням, и я шёл за ней, как слепой за собакой, и когда улица сворачивала не туда, я чувствовал, как натяжение сдвигается в бок, — и сворачивал обратно.

Я считал шаги. Триста двенадцать до кожевен. Я сбился на двухсотом, потому что ступни заныли. Не мои. Её — сбитые, мокрые, в чужих башмаках, которые натёрли. Я шёл и чувствовал её ноги в своих сапогах, и это было как нести кого-то на спине, кого не видишь.

У реки стало холодно.

Не снаружи — ночь была сырая, но тёплая. Внутри. Холод вошёл в голени, потом в колени, поднялся к бёдрам — ледяной, живой, текущий. Вода. Она в воде. Прямо сейчас, пока я иду по берегу, она идёт вброд, и Мгла ей по пояс, и течение тянет. Я ускорил шаг. Потом побежал — второй раз в жизни.

Мост я обошёл. Там горели факелы и стояли люди, я видел издали, пятеро, — Вейн. Он ставит заранее. Он не любит того, чего не понимает, и ставит пятерых на всякий случай. Я пошёл берегом, мимо мельниц, в тени, и у последней мельницы увидел забор из жердей, и на верхней жерди — гвоздь, и на гвозде — тёмное.

Я тронул пальцем. Кровь. Её. Я уже знал, но тронул, — так положено, проверить.

Ладонь у меня при этом дёрнуло, как будто гвоздь вошёл снова. Я сжал кулак. Я перелез.

* * *

Брод был широкий, мелкий, по камням. Я вошёл в воду и понял, что ошибся: не по пояс — ей по пояс, мне по бедро, но холод был двойной. Свой — я его почти не чувствую, вода как вода — и её, который ещё сидел в моих ногах от того, что она прошла здесь четверть свечи назад. Двойной холод — это много. Я шёл и считал камни под ногами, чтобы не думать о том, что считать нечего.

На том берегу тяга изменилась.

Она стала ближе и слабее — не как у той, кто идёт, а как у той, кто сел и не встаёт. Я прибавил шаг. Тростник, ивы, тропа в траве, мокрой от росы. Нитка вела в тростник, вбок от тропы, и я свернул, и в тростнике, там, где он примят, лежала она.

На боку. В сером плаще, промокшем насквозь, тёмном, как речное дно. Капюшон сполз, обрезанные волосы прилипли к щеке. Левая рука замотана краем плаща, и край этот был уже не серый. Правая — под головой. Глаза закрыты.

Я опустил рядом. Я не тронул её сразу. Я смотрел: дышит. Часто, неглубоко, и губы серые. Кровь — много, судя по плащу, — и вода, и ночь, и три версты пешком на сбитых ногах. Я знаю, сколько может тело. Это было близко к краю.

Я положил руку ей на лоб. Холодный.

Она открыла глаза.

Она смотрела на меня — на лицо, без маски, в предрассветной серости — долго, так, как смотрят, когда не уверены, что это не сон. Потом сказала хрипло:

— Ты пришёл.

— Ты дёрнула за нитку.

— Я не хотела.

— Знаю. — Я размотал плащ с её руки. Порез был длинный, глубокий, чистый — гвоздь прошёл как нож. Кровь уже не шла, запеклась. Это было хорошо. Я замотал снова, ту же, своей холстиной, которую ношу за пазухой, — так положено, у палача всегда есть холстина. — Ты бы умерла здесь до полудня.

— Я лекарь. Я знаю.

— Знаешь. И пошла.

Она не ответила. Она лежала, и я видел, как у неё дрожит подбородок, — не от холода. Я чувствовал её холод, он был в моих ногах; дрожь была другая.

— Двадцать капель, — сказала она. — Ты должен был спать до полудня.

— Я спал. Потом ты порезала руку.

— Я знаю. Я поняла. Я сидела там, в траве, и поняла, что ты... — Она закрыла глаза. — Пепел меня побери. Я думала, что ухожу, чтобы тебя спасти. А сама позвала.

Я не знал, что на это ответить. Я положил это к остальному — и заметил, что «остальное» теперь, кажется, не помещается никуда и просто лежит во мне, большое, как река.

И тут я услышал лошадей.

* * *

Трое. Со стороны моста, по той стороне, — значит, обошли через мост и теперь шли берегом вниз, как я. Я узнал по посадке: братья-стражи, лёгкие кольчуги, мечи. Впереди — на гнемой — широкий, с рукой на перевязи, прижатой к груди. Ульрик. Он сидел в седле криво, как сидят с болью, и я подумал — отметил, — что он чувствует свою руку так, как я не чувствовал бы.

Они ещё не видели нас. Тростник, ивы, серость. Но у них были лошади, а у нас — она, которая не могла встать.

Я поднял её на руки. Она была легче, чем вчера. Я отнёс её на десять шагов вглубь, где тростник был выше головы и под ним — сухая кочка, и положил, и накрыл своим плащом сверху, чёрным, он сливался с тенью.

— Лежи. Не дыши громко.

— Что ты...

— Лежи.

Я вышел на тропу. Один. Без маски, в чёрном, с перевязанной правой рукой. Я встал посреди тропы и стал ждать. Я умею.

Они увидели меня за тридцать шагов. Ульрик поднял здоровую руку, и двое за ним остановились.

— Нечистый, — сказал он. Голос у него был хриплый, злой, с болью внутри. — Ну надо же. Пришёл-таки. Я так и сказал Дознавателю: он пойдёт за ней, как кобель. Где она?

— Ушла.

— Куда?

— На запад. По дороге. Час назад.

Он смотрел на меня сверху. Потом на мои сапоги — мокрые. На тростник за моей спиной. Я видел, как он думает: медленно, тяжело, как ворочают камень. Он не был глуп. Он был зол, а злость иногда видит лучше ума.

— Врёшь, — сказал он. — Безмолвные не врут. А ты врёшь. Что она с тобой сделала?

Я не ответил.

— Слезайте, — сказал он своим. — Она в тростнике. Ищите. А этого... — он посмотрел на меня, и в маленьких глазах было то, что я видел у него на полу башни, только теперь наоборот, — этого Дознавателя велел брать живым. Он не сказал — целым.

Двое спешили и пошли на меня. Мечи наголо. Молодые. Одного я знал — Пётр, из Кожевенного, он стоял у двери башни в тот день, когда я сломал руку его капитану, и не заступил дорогу. Он и теперь шёл неохотно.

Я не вынул ножа.

Я не убиваю без листа. Это не правило Ордена — это моё. Двести четырнадцать, и все по бумаге, и ни одного — так. Я не собирался начинать на мокрой тропе у брода из-за того, что у меня в тростнике лежит женщина под моим плащом.

Первого я взял за запястье, когда он замахнулся. Я знаю, где суставы. Меч ушёл в траву, он сам — следом, лицом вниз, я придавил его коленом, чтобы не вставал, пока не надо. Второй — Пётр — ударил сбоку. Я подставил перевязанную руку, и клинок прошёл по щепкам, и щепки спасли пальцы. Я не почувствовал. Я взял его за ворот и за пояс, как берут мешок, — поднял, — и бросил в реку.

Он упал с плеском, по грудь, и сел на дно, и смотрел на меня из воды, раскрыв рот.

— Иди домой, Пётр, — сказал я.

Ульрик ударил коня. Он шёл на меня верхом, с одной рукой, с мечом в левой — неловко, широко. Я шагнул вбок и взял коня под уздцы. Конь встал. Я знаю лошадей, я вёл их на двор двести четырнадцать раз. Ульрик замахнулся сверху, и я дернул узду, и конь присел, и Ульрик сполз с седла на здоровое плечо и на перевязанную руку.

Он закричал. Я слышал, что это боль, — настоящая, его, и я стоял над ним и чувствовал, что должен был бы что-то. Я чувствовал — пусто. Своё не считается. Чужое — тоже. Только её.

— Уходи, капитан, — сказал я. — Скажи Дознавателю: ведьма жива. Я её берегу. Он велел.

Я взял его меч из травы и бросил в реку — туда же, где сидел Пётр. Первого отпустил. Он отполз. Я повернулся и пошёл в тростник, и за спиной никто не пошёл следом — трое, двое в воде и один с рукой, против одного, который не вынул ножа. Они не пошли. Я знал, что не пойдут. Я их не боюсь, и они это знают, и это хуже меча.

* * *

Она сидела на кочке, под моим плащом, с белым лицом, и смотрела на меня.

— Ты их не убил.

— Нет.

— Почему?

— Нет листа.

Она засмеялась — коротко, сипло, и смех перешёл в кашель. Я поднял её. Она не спорила. Я встал с ней на руках и посмотрел на восток, где за рекой, за мельницами, за стеной вставал серый свет и в сером свете была Цитадель, и Вейн в кабинете, и лист с тридцатью днями.

Туда — долг. Вернуть. Я страж, мне велено беречь, и беречь — это вернуть в башню, под засов, под Агадины повязки. Это просто. Так было бы ровно.

Я повернулся на запад. Там был лес — чёрный, низкий, в полуверсте, и за ним дорога, и где-то на ней монастырь, о котором говорила Агата, — Святой Гарды, пустой. А за лесом — её Ольховка.

Туда — измена.

Я стоял с ней на руках между востоком и западом, и в боку у меня был крючок, и он не тянул никуда — она была здесь, у меня на руках, леска провисла. Я должен был решить сам. Мне никто не говорил. Двадцать лет мне говорили.

Я пошёл на запад.

Трава была мокрая, высокая, она цеплялась за сапоги. Я считал шаги, потому что это единственное, что я умею делать, когда не знаю, что делать. Сто. Двести. На трёхсотом я подумал о Матиасе — что его позовут к Вейну и спросят, и он будет стоять в кабинете, где пахнет воском, и не знать, что сказать. Я подумал о тетради на полке. О Доре с лучиной. О том, что завтра в Слободе будут говорить за ставнями: ушёл. С ведьмой. Без намордника.

Это всё было правдой, и я нёс это с собой, как нёс её, — и она была легче.

Она подняла голову и посмотрела на меня снизу, с моих рук, мокрая, серая, с перевязанной ладонью, и я ждал, что она что-нибудь скажет — про мак, про то, что я должен был её вернуть, про Вейна. Она сказала другое.

— Ты дезертир, палач.

— Да.

Я услышал, как это вышло. Ровно, коротко, как выходят все мои слова. И не поверил, что это я сказал. Я шёл по мокрой траве к чёрному лесу, с ведьмой на руках, без маски, без листа, и повторял про себя — «да», — и каждый раз это было так же. Так же правда.

Я не узнавал себя. Но, кажется, впервые за двадцать лет это был я.

Глава 12. Одно одеяло

Велена

Святая Гарда, кем бы она ни была, умерла давно, и дом её умирал следом — медленно, по камню.

Я увидела его с рук Северина: серую стену без крыши, арку, в которой росла берёза, и одну целую башенку, узкую, как палец, с чёрной дырой окна. Вокруг — лес, мокрый, низкий. Над лесом — небо, которое с полудня собиралось, собиралось и наконец собралось. Первые капли ударили по моему лицу, когда он нёс меня через арку, а когда он поставил меня на пол в башенке — у стены, на сухое, — за дверным проёмом уже стояла вода. Сплошная, серая, шумящая, как мельничное колесо.

— Ливень, — сказал он.

— Какой наблюдательный.

Он посмотрел на меня. Без маски — я ещё не привыкла к этому вне дома, его лицо под открытым небом выглядело как вещь, которую вынесли из подвала и не знают, куда поставить. Он посмотрел — и, кажется, что-то у него дрогнуло в углу рта. Не улыбка. То, что бывает перед ней.

—

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.